

ЕВА ВЕРЕСОВА

Жених на поруки, или Учительница с Садовой



Ева Вересова

Жених на поруки, или Учительница с Садовой

<https://litres.ru/74700747>

SelfPub; 2026

Аннотация

У меня чешутся пальцы, когда мне врут. Для старшей учительницы в школе, где сорок детей, это почти болезнь. Для племянницы женщины, которую разорил самый красивый лжец Авернии, это приговор.

Десять лет назад Жюльен Мирр отнял у моей тётки сердце, а она до самой смерти думала, что он просто не успел ей всё объяснить. Теперь в Сольмаре снова гибнут вдовы, снова пахнет фиалками, и его снова взяли под стражу. Лотта, королевский нюхач, которая платит за нашу школу, просит меня об одной маленькой услуге.

Подписать за него поруку. Взять его на Садовую истопником. Отвечать за него школой.

Шесть пунктов: не лгать, не петь, не говорить комплиментов, топить двенадцать печей и звать меня «мадемуазель Хорн». Он топит. Он стоит в двух шагах. У него сломан нос, а дети зовут его Жюль.

Что делать, если однажды, рядом с лучшим лжецом королевства, у тебя перестанут чесаться пальцы?

Самостоятельная история из цикла «Травницы Тихого Брода». Героев прежних книг вы тоже встретите.

Ева Вересова

Жених на поруки, или Учительница с Садовой

Ева Вересова

Жених на поруки,

или Учительница с Садовой

Травницы Тихого Брода. Книга пятая

Аннотация

У меня чешутся пальцы, когда мне врут. Для старшей учительницы в школе, где сорок детей, это почти болезнь. Для племянницы женщины, которую разорил самый красивый лжец Авернии, это приговор.

Десять лет назад Жюльен Мирр отнял у моей тётки сердце, а она до самой смерти думала, что он просто не успел ей всё объяснить. Теперь в Сольмаре снова гибнут вдовы, снова пахнет фиалками, и его снова взяли под стражу. Лотта, королевский нюхач, которая платит за нашу школу, просит меня об одной маленькой услуге.

Подписать за него поруку. Взять его на Садовую истопником. Отвечать за него школой.

Шесть пунктов: не лгать, не петь, не говорить комплиментов, топить двенадцать печей и звать меня «мадемуазель

Хорн». Он топит. Он стоит в двух шагах. У него сломан нос, а дети зовут его Жюль.

Что делать, если однажды, рядом с лучшим лжецом королевства, у тебя перестанут чесаться пальцы?

Самостоятельная история из цикла «Травницы Тихого Брода». Героев прежних книг вы тоже встретите.

Часть первая. Порука

Глава 1.

В которой у меня чешутся пальцы

— Это не я, — сказал Гус.

У меня зачесался указательный.

Гусу одиннадцать лет. Он не видит с рождения, у него круглая стриженная голова, оттопыренные уши и лицо младенца, которого только что причастили. На подбородке у него было варенье. В кармане, судя по тому, как оттянулась курточка, лежала примерно половина банки.

— Гус, — сказала я.

— Мадемуазель Хорн, я клянусь памятью графа Арвиля. Я сидел в спальне и повторял таблицу умножения. Я даже не знаю, где у нас кладовая. Я слепой.

Зачесались средний и безымянный.

Я убрала руку за спину и потёрла пальцы о шерсть юбки. Это помогает примерно так же, как помогает от дождя сказать ему: «Прекратите».

— Сколько будет семью восемь? — спросила я.

Пауза.

— Пятьдесят шесть, — сказал Гус, и пальцы успокоились. Таблицу он действительно знает. Он вообще очень способный мальчик. Я думаю, он кончит либо королевским казначеем, либо на виселице, причём не исключая, что и то и другое.

— Хорошо. А теперь вынь банку и отнеси Марте. Сам. И скажи ей, что это был ты.

— Она меня убьёт.

— Она тебе ничего не сделает, — сказала я, и это была чистая правда. Марте шестьдесят четыре года, она сорок лет служит в этом доме, и за всё это время, по её собственным словам, никого не убила. Хотя она всегда добавляет «пока».

Гус вздохнул, вынул банку и пошёл по коридору, ведя левой ладонью по стене. На стене у нас через каждые шесть шагов приклеены полоски разного сукна. Гладкое — к лестнице, рубчик — к столовой, шершавое — на кухню. Это моя система. На седьмом шаге он сунул палец в банку и лизнул.

Мне не надо было на это смотреть. Я и так знала.

Мне двадцать семь лет. Я старшая учительница и, поскольку больше некому, ещё и управляющая школой для слепых детей на Садовой улице в Сольмаре. У меня сорок учеников, четыре учителя, двенадцать печей, дырявая крыша над западным флигелем и долг мяснику. И с восьми лет у меня чешутся пальцы, когда мне лгут.

Вы, вероятно, сейчас подумали: как удобно.

Попробуйте сами.

* * *

Я не знаю, как это называется. Тот граф с севера, начальник Особого отдела, про которого пишут в газетах, говорят, слышит ложь звоном в ушах. Звон — это благородно. Это дар истины, про него есть глава в учебнике. Про чесотку в учебнике главы нет. Я проверяла.

Это начинается с кончиков. Мелкая ложь — вежливость, «как я рада вас видеть», «прекрасное жаркое» — покалывает, как будто трогаешь шерстяной носок. Ложь побольше зудит. А когда человек врёт нагло, от души, глядя мне в глаза, у меня горит вся кисть до запястья, и я потом хожу с красными полосами, и Марта мажет меня гусиным жиром и спрашивает, не от чернил ли.

Я говорю, что от чернил.

Про пальцы знает только мой брат. Даже отец не знает. Отец у меня пекарь, он за всю жизнь соврал один раз, когда сказал покупателю, что хлеб сегодняшний. Потом месяц не мог спать.

Больше всего я, разумеется, чешусь на заседаниях Попечительского совета. Но до них мы ещё дойдём.

* * *

Школа на Садовой — самый красивый дом в Сольмаре, в котором протекает крыша.

Его построил покойный граф Арвиль. Три этажа, колон-

ны, мраморная лестница, герб над дверью. Здесь были бальная зала и зимний сад. Девять лет назад его унаследовала незаконная дочь графа, белошвейкина дочка с Кожевенной, которая не видит с девяти лет. Весь город ждал, что она выйдет замуж за виконта и станет давать приёмы. Вместо этого она вышла за мельника, уехала на север нюхать преступников, а дом отдала слепым детям.

Сейчас в бальной зале у нас столовая. В зимнем саду — урок «Нюх». В парадной спальне графини спят младшие девочки, и по шёлковым обоям на высоте детской руки идёт длинная вытертая полоса. Марта каждый день ставит в кабинете графа вазу с яблоками. Она делала это ещё при нём, он так и не узнал, для кого. Теперь это для детей. Они заходят туда понюхать.

Я пришла сюда в восемнадцать лет.

Вообще-то я пришла с братом. Тобиас ослеп в семь лет — у нас на Кожевенной был один знахарь, Бальзам, он капал детям в глаза какую-то дрянь от гноя. Половина нашего двора до сих пор ходит с палочками. Когда открылась школа, Тобиасу было десять, он два года просидел на подоконнике в пекарне и разговаривал с мукой. Я привела его за руку и собиралась уйти, у меня была работа в лавке.

Первое, что я увидела, — учителя, который читал вслух тридцати детям книгу. Больше им делать было нечего. Книгу можно только прослушать. Её нельзя взять в руки, вернуться на прошлую страницу, спрятать под подушку. Можно только

сидеть и ждать, когда какой-нибудь зрячий будет любезен.

Я спросила: а как они будут читать сами?

Учитель сказал: никак, девушка. Вы о чём?

Вот с этого всё и началось.

У меня наверху, в комнате над кухней, лежат восемь лет работы. Доски, дратва, вощёные шнуры с узелками, деревянные буквы высотой в палец, буквы из сургуча, буквы, выдавленные шилом на толстой бумаге. Всё это никуда не годится. Буква большая, пальцами её узнаёшь за минуту, страница весит как кирпич. Этой весной я начала пробовать точки. Шесть точек, в два столбика, как на костяшке домино. Комбинации. Выдавливаете обратной стороной. Подушечка пальца накрывает всю букву сразу, ей не нужно ощупывать. Тобиас прочитал первое слово за четыре секунды. Слово было «квашня», я не сразу придумала, что написать.

Это работает. Я никому пока не говорила. Для того чтобы напечатать хотя бы один букварь, нужны деньги на пресс, а денег у меня нет даже на мясника.

Вот об этом я и думала в то утро, когда на лестнице раздался звонкий, очень озабоченный голос:

— Мадемуазель Хорн! А почему у нас на кухне пахнет вашим лицом?

* * *

Фие шесть лет. Она у нас с весны. Её привезла из Вельска тётка, сдала, как сдают в починку часы, и уехала, не оставив адреса. Фие этого, по-моему, не заметила. Она в тот же вечер

обошла весь дом, перетрогала всё, до чего могла дотянуться, и задала мне сто четырнадцать вопросов. Я считала. Я подумала, что где-то надо остановиться, и на сто четырнадцатом сказала: «Спать». Она спросила: «Почему?»

Фия стояла на третьей ступеньке, держась за перила. На голове у неё были две косички разной длины, потому что заплетала себя она сама, и нос, которым она всё время двигала, как кролик.

— Чем пахнет? — спросила я.

— Вашим лицом, — повторила Фия с большим терпением. — Вы утром умываетесь таким мылом, которое как лимонная корка и зола. А на кухне теперь ещё одно лицо, такое же, только большее. И оно сидит с Мартой. И молчит, и Марта молчит, и у них чай. — Она подумала. — И трость. И пахнет мукой. И мандаринами! Только мандаринов нет. Мне ещё никто не давал мандарина. А он какой?

Я сняла очки. Протёрла о манжету. Надела обратно. Без них я вижу чуть меньше, чем мои ученики, а с ними — всё, что мне не хочется.

Лимонная корка и зола. Такое мыло в Сольмаре варят только в одном месте, я сама когда-то подарила ей кусок на именины. Трость. Мука.

— Иди на урок, Фия.

— А почему у вас сердце...

— Фия.

— Я только спрашиваю, — сказала Фия. — Вопрос сто

сорок первый за сегодня.

Она ушла. Я пошла на кухню. Кухня у нас внизу, огромная, с каменным полом и с очагом, в котором граф Арвиль мог бы зажарить быка. На длинном столе, среди очисток, сидели друг напротив друга Марта и королевский нюхач Шарлотта Ланге.

Я её не видела с весны.

Лотте двадцать восемь лет. На вид ей можно дать то восемнадцать, то сорок: маленькая, сухая, в простом сером платье с синей лентой, с пепельной косой вокруг головы, и глаза смотрят куда-то над твоим левым плечом. Она владеет этим домом и всей своей рентой содержит эту школу. Она первая научила наших детей нюхать. Она ни разу за девять лет не сказала мне ни слова лжи. И с ней невозможно разговаривать, потому что она поворачивает голову, чуть шевелит ноздрями и сообщает: «Ты не завтракала. Ты должна мяснику. И у тебя новая идея, от тебя пахнет сапожным воском и сожжённой бумагой».

— Ты не завтракала, — сказала Лотта. — И у тебя новая идея. Здравствуй, Агнес.

— Здравствуй. Ты должна быть на севере.

— Должна, — согласилась она. — У меня дома сын, муж и двадцать шесть мандрагор. Я трое суток ехала на почтовых, у меня спина как доска. Марта, налей ей.

Марта встала и налила. Марта большая, плоская, совершенно седая, и у неё лицо, которое за сорок лет никому ни-

чего не сообщило. Она поставила передо мной чашку и хлеб с маслом и сказала:

— Я с этим не согласна.

— С чем? — спросила я.

— Не моё дело, — сказала Марта. Вытерла руки о передник и вышла, прикрыв за собой дверь.

Я посмотрела на дверь. За сорок лет службы в этом доме Марта не была согласна только с двумя вещами: с завещанием графа, потому что оно было недостаточно длинным, и с тем, что граф умер. Ни разу она не заявляла об этом вслух.

Я села.

— Лотта, — сказала я. — Что случилось?

Она не ответила сразу. Она сидела очень прямо, поставив трость между коленями. Лотта обычно всё время чуть улыбается, такая у неё привычка, это из тех слепых, кто заранее готов к тому, что на него смотрят. Сейчас она не улыбалась.

— Ты читаешь газеты? — спросила она.

— Я читаю счета.

— В Сольмаре за последний год умерли четыре вдовы, — сказала Лотта. — Не старые. Богатые. Три — от сердца, одна упала с лестницы. Перед смертью все четыре изменили завещания и перевели имущество на разных лиц. Все четыре за несколько месяцев до этого, как говорят родственники, «просто расцвели». Пели по утрам. Стали покупать новые шляпки. Говорили, что наконец-то встретили человека, который их понимает. Позавчера сыск вскрыл комнату у

последней, вдовы Гальт. — Она помолчала. — Там полный шкаф писем и засушенные цветы. Угадай какие.

Я перестала жевать.

У меня внутри что-то стало очень тихим и очень холодным. Как будто там открыли дверь в погреб.

Я знала. Я знала, ещё пока она говорила. Я знала, какие цветы лежали десять лет назад в синей шкатулке у моей тёти, когда та умирала в наёмной комнате над скорняжной лавкой. Я знала их запах. Он потом не выветривался из моих платьев целую зиму.

— Фиалки, — сказала я.

— Фиалки, — сказала Лотта.

— Я думала, её посадили. Вашу мадам. Навечно.

— Она сидит. Я проверяла. В Сент-Клер, в женской. Она никуда не выходила. — Лотта взяла со стола кусок хлеба, понюхала и положила обратно. — Но позавчера следователь Вайс получил анонимное письмо с адресом в Вельске. И в Вельске, в мыловарне, нашли остальное. Такие же письма, такой же бумаги. Флакон с водой, какую покупала Гальт. И счета на три фамилии. Его взяли в субботу. Сюда уже привезли, он в Южной тюрьме, суд назначен на первую неделю нового года. Обвинение в четырёх отравлениях. Ты понимаешь, что это значит.

Я понимала.

Я очень аккуратно положила хлеб на стол. Рядом с чашкой. Потом сняла очки и положила их рядом с хлебом. Кух-

ня превратилась в большое, тёплое, расплывчатое пятно, и в середине его сидело пятно поменьше, серое, с синей полоской. Так мне было легче.

— Ну и замечательно, — сказала я. — Пусть его повесят. Я куплю себе новую шляпку. И спою.

Пятно не пошевелилось.

— Это не он, — сказала Лотта.

Пальцы молчали.

Вот что самое неприятное. Лотта ни разу в жизни не вызвала у меня ни малейшего зуда. Она либо говорит правду, либо молчит. Либо, как в этот раз, говорит то, что считает правдой, а это, как я выяснила за девятнадцать лет чесотки, далеко не одно и то же.

— Откуда ты знаешь?

— Он пишет мне каждые три месяца. Девять лет. Я ему посылаю на Новый год мандарины, он пишет, сколько съел и сколько роздал. Он варит мыло, Агнес. Он варит очень плохое мыло, потом немножко лучше. Ты знаешь, чем пахли письма из его мыловарни, те, что нашли? Я их вчера нюхала. Там щёлок. Там его собственная рука, рука на них действительно была, он брал эту бумагу. Но писал их кто-то другой, кто-то помоложе, с хорошими зубами и с фиалками в волосах, и держал их потом в сухом месте, в кедровом ящике. Я это Вайсу сказала. Вайс сказал: «Госпожа Ланге, я не могу принести в суд ваш нос. Мне нужен человек, который скажет, откуда это знает. А ваш Мирр на допросе только плачет

и говорит стихами».

— Это на него похоже.

— Да. Он всегда был дурак. — Лотта наклонила голову. — Его всё равно повесят, если он не поможет найти настоящего. Настоящий работает его методом. Понимаешь? Шаг в шаг, слово в слово. Он единственный на свете, кто может это прочесть, как свой почерк. Посидеть над письмами, сказать: вот так она учила, вот это следующий ход, вот здесь он ошибётся. В камере он этого сделать не может. Вайс согласен выпустить его до суда. Закон разрешает, если найдётся поручитель с недвижимостью и постоянным занятием для подследственного. — Она помолчала. — Постоянное занятие под надзором. В частном учреждении, которое состоит на королевской лицензии.

Я, наверное, довольно долго смотрела на неё.

Тёплая кухня. В очаге негромко стреляло полено. Откуда-то сверху, из зимнего сада, донёсся тонкий хор сорока голосов: «Мя-та! Ме-лис-са! Та-бак! Гус, не ешь образец!»

Я надела очки.

Лотта сидела в двух шагах от меня и смотрела мне через плечо своими светлыми неподвижными глазами. Она ничего не добавила. Она не сказала «прошу тебя». Не сказала, что ей рента платит за мою крышу и моего мясника, и что она, в сущности, могла бы просто приказать. Она сидела и ждала, чуть шевеля ноздрями.

— Нет, — сказала я.

— Двенадцать печей, — сказала Лотта. — Истопника ты рассчитала в августе, потому что нечем платить. Младшие в спальне уже спят в чулках.

— Лотта.

— Ему не надо платить. Он будет работать за кров.

— Лотта. Мою тётю звали Эмма Кремер, — сказала я. Голос у меня, к моему удовольствию, был совершенно ровный. Голос классной дамы, которая просит открыть тетради. — Она взяла меня к себе, когда мне было восемь лет и умерла мама. Она учила меня писать. У неё был дом на Ольховой, с геранью, и она каждое воскресенье пекла рулет с маком, очень плохо, потому что она была из семьи не пекарей. В сорок семь лет к ней на благотворительном базаре подошёл молодой человек с гитарой и сказал, что у неё глаза цвета вечера над заливом. У неё были глаза цвета глаз. Я ей это и сказала. Мне было семнадцать. Я стояла рядом с ним, у меня от него пальцы горели так, что я уронила поднос. Я ей сказала: тётя, он лжёт. Она ответила: Агнес, ты просто ещё не знаешь, как это бывает.

Лотта молчала.

— Она ему отписала дом. Её потом вернули. По суду, твоими стараниями, я помню, мы все очень благодарили. Только тётя в него уже не вернулась, ей незачем было. Она прожила ещё семь месяцев над скорняком и читала его письма. Она мне за день до смерти сказала: «Он, наверное, не успел мне всё объяснить». — Я взяла чашку. Отпила. Чай остыл.

— Ты меня просишь пустить его в дом к детям. И дать ему в руки дрова.

Наверху хор запел про валериану.

— Да, — сказала Лотта.

Она протянула через стол руку. Маленькую, сухую. На пальце блеснуло кольцо с крышечкой. Рука остановилась точно возле моей, не коснувшись. Я не понимаю, как она это делает.

— Я тебе обещала, что не буду никогда врать, — сказала она. — Поэтому я скажу. Ты можешь отказать. Я не заберу ренту, что бы ты ни решила, школа останется твоей. Его повесят шестого января, и ещё несколько вдов получают письма. А человек, который пишет эти письма, очень старается, чтобы именно так и вышло. И от него пахнет ещё кое-чем, Агнес. На той бумаге, из кедрового ящика. Совсем немного.

— Чем?

Она повернула голову. К потолку. Туда, где в зимнем саду сорок детей учились отличать мяту от табака.

— Яблоками, — сказала Лотта. — Вот такими. Вчерашними, из вазы у нас в кабинете. — Она помолчала. — Он тут бывал, Агнес. Он ходит в этот дом.

И у меня в первый раз за девятнадцать лет зачесались пальцы от того, что никто не солгал.

Глава 2.

В которой я подписываю

Южная тюрьма стоит за рыбным рынком, и это единственное здание в Сольмаре, которое пахнет хуже рынка.

Я не собиралась туда идти. Я сообщила об этом Лотте, потом Тобиасу, потом отцу. В лавке у отца я сказала это, стоя у лотка, и он поднял голову от опары и спросил: «Кто?» Потом вытер руки, снял фартук и надел его снова другой стороной, что он делает только на похоронах. «Я Эмму любил, — сказал отец. — Хоть рулет у неё был как подошва. Ты туда не ходи».

Я надела лучшее платье, чёрное, школьное, застегнула его до подбородка и пошла.

Я пошла потому, что в школе бывает множество людей. Попечители. Мясник. Певчие из храма. Жертвователи, которые любят приезжать по средам и гладить детей по голове. Я их всех знала, я у всех проверяла отчёты, и теперь мне надо было смотреть на каждого и думать: это ты сидел в кабинете графа и нюхал яблоки? И писал потом какой-то глупой женщине, что у неё глаза цвета вечера?

Вы бы тоже пошли.

К тому же я хотела на него посмотреть. Да. Если уж быть честной, и это самое неприятное в моём положении: приходится. Десять лет назад на суде я сидела в третьем ряду и смотрела на него два дня. Он был в чёрном бархате, весь в кудрях, с синевой под глазами, совершенно прекрасный, как больной ангел в опере. Половина зала плакала. Когда он давал показания на мадам, он повернулся и посмотрел на дам в

первом ряду, и они разом вздохнули. Я тогда подумала, что хотела бы увидеть, как он будет выглядеть лет через десять. Я надеялась, что плохо.

* * *

Следователь Вайс ждал меня в комнате для свиданий. Там были стол, две скамьи, решётка на окне и дежурный, спавший сидя.

Вайс оказался длинный бесцветный человек лет пятидесяти, с большим кадыком и в сюртуке цвета старой мочалки. Он посмотрел на мои очки, на чернильные пальцы, потом в бумагу.

— Мадемуазель Хорн. Госпожа Ланге предупредила. Сразу скажу: я этой затеи не одобряю.

Пальцы молчали. Он мне понравился.

— Я тоже, — сказала я.

— Подследственный содержится в общей камере. У него сломаны два ребра. Не нами, там сидят родственники кое-каких вдов. На допросах бесполезен. Письма признал — бумага его, он ею заворачивал мыло. Сочинять, говорит, не сочинял. Говорит красиво и плачет. Я двадцать лет на службе, мадемуазель. Я таких видел. Обычно их вешают.

— Вы думаете, это он?

Он почесал кадык.

— Я думаю, что, когда мне присылают анонимное письмо с адресом, а по адресу лежит всё нужное, аккуратно, в одном ящике, то кто-то очень обо мне заботится, — сказал

Вайс. — Мне это не нравится. Но думать мне за это не платят. Введите.

Дверь в дальнем конце открылась.

Вошёл человек.

Я его не узнала.

Я сидела и ждала, когда же его приведут, и смотрела мимо, потому что вошёл какой-то истопник. Седоватый, ссутуленный, в драной арестантской куртке, очень тощий. Он шёл, придерживая левый бок локтем. Нос у него был сломан, и не вчера, а давно, и сросся с заметным поворотом влево. Щетина. Над ухом гноилась ссадина. От него пахло так, как пахнет в таких местах, но и ещё чем-то, чем-то едким, домашним. Руки висели. Я посмотрела на эти руки. Длинные пальцы, красивые, очень красивые, все в белых пятнах старых ожогов, как будто кто-то брызгал на них кислым молоком.

Он сел на скамью напротив меня. Осторожно, в три приёма.

Поднял голову.

Глаза были те же.

Вот теперь я его узнала. Огромные, чёрные, с такими ресницами, что я ещё в семнадцать лет хотела их выщипать. Они посмотрели на меня. На очки, на застёгнутый ворот. Лицо у него было усталое и совершенно равнодушное. А потом, у меня на глазах, что-то в нём зажглось, само, как лампа, которую кто-то забыл погасить. Плечи выпрямились. Голова склонилась набок, на два пальца. Левый уголок разбитого

рта приподнялся. И голос, хрипловатый, бархатный, такой, что дежурный у стены вздохнул во сне, произнёс:

— Мадемуазель. Какая неожиданная радость для узника. Вы похожи на первый снег над...

У меня вспыхнула вся правая кисть, как будто я сунула её в печь.

Он осёкся.

Я не пошевелилась. Я даже не почесалась, я держала руки на коленях, и они только дёрнулись под столом. Но он вдруг замолчал. На полуслове. Лампа погасла так же, как зажглась. Он посмотрел на собственную руку на столе. Посмотрел как-то странно, с отвращением, как на собаку, которая опять нагадила в доме.

— Простите, — сказал он другим голосом, глухим. — Это ложь. Это такая... привычка. Вы не похожи на снег. Простите. Я не знаю, на что вы похожи, я вас первый раз вижу, а она говорит, что вы... Кто вы?

Пальцы затихли.

Я молчала довольно долго. Мне нужно было привыкнуть.

— Вы меня видели, — сказала я. — Девять с половиной лет назад. На благотворительном базаре у храма Святой Елены. Я уронила поднос с пирожными вам на сапоги. На следующий год вы ходили к нам по четвергам. Вы сказали мне, что у меня умные глаза, и подарили ленту. Я её сожгла.

Он смотрел на меня.

— Эмма Кремер, — сказала я. — Ольховая, девятнадцать.

Я её племянница. Агнес Хорн.

Вы, наверное, ждёте, что я скажу, как он изменился в лице. У него и так не очень много его оставалось. Он не побледнел, не вскрикнул, не упал на колени. Он сидел. Он просто очень медленно закрыл глаза и не открывал их, пока я считала: раз, два, три, четыре, пять. Там, под веками, всё у него двигалось.

— Рулет с маком, — сказал он. Глаз не открыл. — По воскресеньям. С подгоревшим низом.

— Вы его ели?

— Я его... — Он остановился. Сглотнул. — Я говорил ей, что это лучшее, что я ел в жизни. Я потом выбрасывал в канаву у моста. У меня сохранились все записи, у нас была такая книга, мы туда всё заносили. Цвет любимой шали. Как звали покойного мужа. Я помню. Я их всех помню. Я помню, как она смеялась, закрыв рот рукой, потому что у неё был кривой передний зуб. — Он открыл глаза. — Её больше нет?

— Она умерла через семь месяцев после суда.

— Я знаю. Мне написали. Лотта всем им... Я спросил, — сказал он. — Я только не хотел, чтобы вы думали, что я не спросил.

Я встала.

Я ему не сказала, что шла сюда с определённой речью. Я её сочиняла всю дорогу от рынка. Там были очень хорошие места. Но вот человек с разбитой головой сидел на скамье, и от него пахло тюрьмой, а я стояла над ним в лучшем платье.

Мне хотелось как-нибудь иначе. Мне вообще хотелось уйти.

— Господин следовательно, — сказала я. — Я видела, что хотела. Благодарю вас. Я вынуждена отказать. Я приведу к себе на порог кого угодно, но не его.

Вайс кивнул без всякого выражения и собрал бумаги. Дежурный проснулся.

— Правильно, — сказал человек на скамье.

Я остановилась.

— Вам нельзя, — сказал он. Он смотрел не на меня, а куда-то в крышку стола. — Я говорил Лотте. Я ей писал. Я её просил: не надо. Я не хочу быть там, где дети. Я не гожусь. Меня нельзя подпускать к людям, я начинаю им нравиться, у меня это выходит само. — Он криво, больно усмехнулся. — Я очень устал, мадемуазель. Я там у себя варил мыло, шесть лет. Оно теперь почти не воняет. Шестого так шестого. Я вас прошу, передайте ей, что я ей благодарен за все мандарины. Там не надо больше.

Я очень внимательно прислушалась к собственной руке.

Ничего.

Ни укола. Ни покалывания, как от шерстяного носка. За всё время, что я его знала, за год четвергов, за два дня суда, это был первый раз, когда этот человек произнёс в моём присутствии столько слов подряд, и у меня не зачесалось ни одного пальца.

Я, знаете ли, рассердилась.

Я сама не ожидала. Я, должно быть, рассчитывала, что он

будет цепляться. Что он будет просить, а я откажу. Я ради этого платье надела. А теперь выходило, что он сидит тут и отказывает мне сам, этот долговязый покойник с повёрнутым носом, и даже имеет наглость не врать. Значит, он согласен, чтобы всё кончилось. Значит, он шестого января уйдёт с миром, а где-то там, в кабинете у меня, какой-то молодой человек с хорошими зубами доест моё яблоко и пойдёт писать новой дуре про закат над заливом. И моей тёте от этого будет не легче, а ему станет легче.

Он собрался умереть в расчёте.

Ну уж нет. Опара тебе в ухо.

Я вернулась к столу.

— Посмотрите на меня, — сказала я.

Он поднял голову.

— Вы умеете читать чужие письма? — спросила я. — Те, что нашли. Это правда? Вы можете сказать, кто их писал?

— Я могу сказать, кто его учил, — сказал он. — Там всё из одной книги. Я эти фразы сам... Но она сидит в Сент-Клер, и она никогда не... Не знаю. Может быть. Я их не видел, мне только читали.

— Вы сможете сказать, что он сделает дальше?

— Да.

Пальцы молчали.

— Я вас не прощаю, — сказала я.

— Нет.

— Я вас не жалею и не верю вам, и мне всё равно, что там

у вас за мыло. Вы мне нужны, как нужна крысоловка. Кто-то приходит в мой дом и трогает моих детей. Вы его найдёте. Потом вас будут судить, и, если я вам понадобится как свидетель, я скажу всё, что знаю.

Он смотрел на меня. Мне показалось, что где-то в самом углу этого чёрного, очень усталого глаза что-то шевельнулось. Не лампа. Что-то маленькое, настороженное, как мышь, которая услышала, что в кладовую кто-то вошёл.

— Вы подпишете? — спросил он, очень тихо.

— Господин Вайс, — сказала я. — Перо.

* * *

Поручительство оказалось на двух листах. Я его прочитала, потому что читаю всё. Поручитель, девица Хорн Агнес, старшая учительница училища на Садовой, состоящего на королевской лицензии номер такой-то, ручается своим служебным положением, означенной лицензией и залогом в пятьсот крон за то, что подследственный Мирр Ж. будет находиться безотлучно при училище, исполняя работы по хозяйству, и явится в суд первого января. В случае побега, нового преступления или обмана... Ну и так далее.

Пятьсот крон. У нас в кассе было девятнадцать.

— Это заложит школа, — сказал Вайс без всякого выражения. — Дом на вас не записан. Лицензия отзывается немедленно. Госпожа Ланге собственноручно гарантировала залог.

Я взяла перо. Подумала.

— Здесь есть место для дополнительных условий? — спросила я.

Вайс поднял брови.

— Обычно нет.

— Теперь есть. — Я перевернула лист и написала на обороте. У меня хороший почерк, я им восемь лет заполняю чужие прописи. — Будьте добры, господин Мирр, послушайте. Я не буду повторять. Пункт первый. Не лгать.

Он сидел и смотрел, как двигается перо.

— Вообще. Ни мне, ни детям, ни кошке. Пункт второй. Не петь и не играть на чём бы то ни было без моего разрешения. Пункт третий. Не покидать пределов школы без меня лично. Пункт четвёртый. — Я обмакнула перо. — Никаких комплиментов. Ни одного. Ни мне, ни Марте, ни учителям, ни попечителям, ни любой особе женского пола старше трёх лет. Если вы скажете кому-нибудь, что он похож на первый снег, я напишу господину Вайсу в тот же вечер. Пункт пятый. Двенадцать печей. Топить в шесть утра и в четыре пополудни. Дрова колоть самому. Пункт шестой. Вы будете называть меня мадемуазель Хорн. Я вас буду называть Мирр. Вы будете есть на кухне.

Я подвинула лист к нему.

— Умеете подписывать, не сочиняя стихов?

Он взял перо. Пальцы у него дрожали, и это было неудивительно, два ребра и две недели камеры. Но перо он взял так, как, должно быть, берут гриф гитары. И я снова замети-

ла, что это очень красивая рука, и мне это снова совсем не понравилось. Он наклонился. Прочитал лист. Весь, строчку за строчкой, и шевельнул бровью на пятом пункте. Подписал. «Ж. Мирр». Без единого завитка.

Потом он положил перо на стол и поднял глаза.

— Двенадцать печей, — сказал он. — Это очень много дров, мадемуазель Хорн.

— Да.

— Я про то, что у меня сломаны ребра.

— Я вижу.

— Я только уточняю, — сказал Мирр. И угол рта у него дрогнул, чуть-чуть, совсем не так, как раньше, не красиво и даже не очень-то весело. Просто так, сам по себе. — Пункт первый.

Вайс промокнул лист. Дежурный зевнул. Где-то за стеной кто-то кричал, что его не кормили с прошлой среды.

Я шла к выходу и думала, что Лотта опять всё рассчитала, и что я идиотка. И что нужно будет купить второй горшок гусяного жира. И о том, что с момента, как он сказал про мандарины, у меня ни разу не зачесалось.

Это ничего не значит.

У него просто сломаны рёбра. Подождём, пока заживут.

Глава 3.

В которой истопник приходит с гитарой

Его привезли в понедельник, в половине шестого утра, в

тюремной телеге, с мешком и с гитарой.

Я не разрешала никакой гитары.

Я стояла на чёрном крыльце с фонарём. Шёл мелкий холодный дождь. Октябрь в Сольмаре — это когда не холодно, но ты всё равно мёрзнешь, и всё пахнет мокрым углём. Стражник спрыгнул, откинул борт, сказал: «Вылазь, красавец». Сверху, медленно, боком, спустился Мирр. Ему кто-то выдал шинель с чужого плеча, из рукавов торчали запястья. Он стоял, придерживая рёбра, и смотрел на дом.

Я не сразу поняла, на что он смотрит. Он смотрел вверх, на окна третьего этажа. На балкончик над чёрным ходом. На водосточную трубу с медной рыбой. Лицо у него было такое, как будто он не очень понимает, откуда у него во рту этот вкус.

Я вспомнила. Ну конечно. Он же здесь бывал. Мадам Мирр пятнадцать лет была в этом доме экономкой, ещё при графе. Купленный племянник сюда, надо думать, приезжал по праздникам.

— Что это? — спросила я и показала фонарём.

Он опустил глаза. На гитару. Она висела у него за спиной на верёвке, старая, с облупленной декой и с тремя струнами из шести.

— Это гитара, мадемуазель Хорн.

— Пункт второй.

— Я не играю. Я её просто привёз. Я, если вы прикажете, её сожгу. Вон у вас сколько печей. — Он помолчал. — У неё

очень плохой звук. Она, правда, два раза горела. Её мне один фальшивомонетчик проиграл. Это неважно.

Пальцы молчали. Я подумала, что заставлю его сжечь её завтра, когда он будет больше стоять на ногах. Нет ничего глупее, чем разводить воспитательные меры в половине шестого утра.

— Подпишите, — сказал стражник и сунул мне книгу.

Я подписала. Получено: один.

— Дрова в сарае за кухней, — сказала я. — Ключ на гвозде. Первая печь — кухонная, потом столовая, потом младшие спальни, там очень важно до семи. План я вам нарисовала. Если вы уроните полено на голову ребёнку, я вас убью сама. Завтрак у Марты. Вам ясно?

Он посмотрел на лист с планом. На лестницу. На дрова, блестящие под навесом от дождя.

— Абсолютно, мадемуазель Хорн, — сказал Мирр и пошёл к сараю. Пятый шаг получился у него с трудом. Я не смотрела.

* * *

Марта встретила его на кухне.

Я это видела, потому что пришла проверить мясной счёт. Она как раз ставила тесто. Мирр вошёл с первой охапкой, поленьев пять, белый, как творог, и на лбу у него выступил пот. Он остановился на пороге.

Я думаю, они не виделись лет пятнадцать. Марта тогда уже была здесь горничной, а его привозили на Новый год, кра-

сивого мальчика с фиалками за ушами. Он целовал дамам руки и играл им гитарные пьески.

Марта подняла голову. Посмотрела. На нос, на шинель, на щетину.

Вытерла руки.

— Жюль, — сказала Марта.

— Здравствуйте, Марта, — сказал он.

Она подошла. Она и правда большая, почти с него ростом и гораздо шире. Взяла из его рук поленья, все пять, как берут у ребёнка. Положила у очага. Потом посмотрела на него ещё раз. И отвесила ему подзатыльник.

Не сильно. Как опытный человек, без всякой злости, одной ладонью. Он покачнулся. На лице у него ничего не отразилось, но я видела, как он от этого сморщился: рёбра.

— Это за вдову Фогель, — сказала Марта. — Она мне была кумой.

Вернулась к столу. Отщипнула от теста. Снова начала месить. Прошло, наверное, с полминуты. Потом сказала, не оборачиваясь:

— Каша на краю. С маслом. Ложка там. Будешь таскать по пять, сляжешь к обеду, а мне потом вас тут всех хоронить. По три таскай.

— Спасибо, Марта.

— Не за что. Я с этим не согласна.

Он взял ложку.

Я заметила, что ем он как тюремный: быстро, закрыв мис-

ку левым локтем. Потом он заметил, что заметила я, и убрал локоть. Но, наверное, ему было трудно: рука всё время норовила сама вернуться на место.

* * *

До семи утра он успел обойти кухню, столовую и младшую спальню. Я знаю, потому что дети проснулись тёплыми. Первый раз с сентября.

А к восьми начались неприятности.

Я говорила вам про Фию.

Я вела первый урок в малой зале, тот, что мы называем «Руки»: дети на ощупь разбирают и собирают дверной замок. Шестеро младших, стол, ящик с винтами. Малый у окна, потому что ему четырнадцать, он выше меня, а замки его успокаивают. Ида и Ода вдвоём держат один ключ. И вот в дверь кто-то негромко постучал поленом.

— Мадемуазель Хорн, простите. Печь. У вас тут на плане стоит «до восьми».

— Быстро, — сказала я, не оборачиваясь.

Он вошёл. Прошёл вдоль стены к изразцовой печи в углу. Присел на корточки, морщась. Заскрипела заслонка. В комнате стало пахнуть сырым дубом, золой, а поверх этого...

Я увидела, как разом поднялись шесть голов.

Вы к этому не привыкнете. Я работаю здесь девять лет, и до сих пор не могу. В школе на Садовой дети начинают нюхать с первого дня, так распорядилась Лотта, это вроде таблицы умножения. Шесть носов, от шести до четырнадцати

лет, повернулись к печке, все одинаково, как подсолнухи.

Фия спрыгнула со стула.

— Фия. Сядь.

— Одну минуточку, — сказала она вежливо. И пошла. Прямо через комнату, вытянув перед собой обе ладони, с разной длины косичками. На седьмом шаге ладони упёрлись в шинель. Она остановилась. Он замер, с поленом в руке, на корточках, и их лица оказались на одном уровне.

Фия ощупала шинель. Рукав. Плечо. Подвинула руки выше. Я уже встала. Мне оставалось до них шагов восемь. Ладонь легла на щёку, на щетину, поехала вверх. Он совершенно не двигался. По-моему, он и не дышал. Пальчики добрались до носа. Ощупали его слева. Справа. Остановились там, где кривой.

— Ой, — сказала Фия. — А кто тебе так сделал?

Молчание.

— Один человек, — сказал Мирр. Голос был сиплый.

— За что?

— Было за что.

— А ты кто?

— Я истопник.

— А как тебя зовут? А почему от тебя пахнет мандаринами, когда мандаринов нет? А ты красивый?

Я успела. Я взяла её за плечи. Но я успела, как всегда, ровно настолько, чтобы увидеть, как это у него произошло. Вот так же, как в тюрьме: спина сама стала прямее. Склонилась

голова на два пальца. И в чёрных глазах, над кривым носом, кто-то очень привычно зажёл лампу. Он открыл рот.

Шестилетней девочке.

Он открыл рот, и я очень ясно поняла, что сейчас услышу. «Если ты так считаешь, прекрасная госпожа». Или что-нибудь такое же, ничего дурного, просто рефлекс, как у той собаки, которая при звуке колокольчика пускает слюну. Правую кисть у меня уже начало подёргивать, заранее.

Он закрыл рот.

Лампа мигнула и потухла. Он сглотнул. Я видела, как у него на шее двигается это горло. Я видела, какое усилие ему нужно, чтобы просто отвести взгляд и посмотреть на полено.

— Нет, — сказал Мирр Фие. — Был когда-то. Сейчас нет. Меня зовут Жюль. Сядь, пожалуйста, на место, здесь жарко, и ты сейчас обожжёшься. Это мандарины такие... Это такие маленькие оранжевые штуки, вроде очень мокрого солнца. У них кожа пахнет лучше, чем то, что внутри.

Фия подумала.

— Врёт? — спросила она у меня. Громким шёпотом. На весь класс. Она меня всегда спрашивает. Я не знаю, откуда она взяла, что я знаю.

Я посмотрела на свою руку.

— Нет, — сказала я. — Иди садись.

Она пошла. Гус, который был на другом уроке, но каким-то образом сидел теперь под столом, тихо сказал оттуда, с глубоким профессиональным уважением: «Не врёт. А

звучит как будто врёт». Я велела ему идти на математику.

Мирр закрыл заслонку. Встал, держась за стену. Постоял. Проходя мимо меня, он не поднял глаз. Я только заметила, как капля пота стекла у него из-за уха за грязный воротник шинели.

— Мне тут кажется, — сказал он тихо, — что я только что был вежлив с дамой. Мадемуазель Хорн, это нарушение?

— Вы сказали, что у неё будет ожог.

— Да.

— Тогда нет, — сказала я. — Идите работать.

* * *

К обеду все сорок знали, что у нас новый истопник с кривым носом, от которого пахнет солнцем. К ужину Кит, которому восемь и который ворует всё, что не прибито, стащил у него кисет. Вернул. Сказал: «В нём ничего нет». К вечеру старшие девочки, Лисса и Натали, уже пять раз попросили разрешения выйти в коридор и постояли там, прислушиваясь, как он ходит с дровами. Я велела им повторить деление дробей.

В семь я проверяла тетради. В своей комнате над кухней, при свече, с накинутой шалью. За стеной гудел дымоход. Было тепло. Я не помню, когда в последний раз в этой комнате было так тепло, чтобы можно было снять чулки. Я их снимать не стала, потому что я не из тех, кто покупается на дрова.

В дверь поскреблись.

Ещё до того, как он заговорил, я определила: левая нога идёт, а правая как бы её догоняет, трость, запах канифоли и старых книг.

— Заходи, — сказала я.

Вошёл Тобиас. Мой брат девятнадцати лет, длинный, толстый, весь какой-то вывернутый и с самым счастливым лицом во всём королевстве. Он второй год настраивает у нас рояль и обучает младших нотам. Ухо у него такое, что он узнаёт, сколько денег у тебя в кармане, если ты идёшь не спеша. Он сел ко мне на кровать, поставил между колен трость и весь просиял в сторону шкафа.

— Я слышал, ты привела к нам Жюльена Мирра, — сказал он.

— Это Лотта.

— Нет, это ты. Подпись твоя. Отец два раза за день фартук перевернул. — Он покрутил головой. — Я с ним поговорил. Я отложила перо.

— Тобиас.

— Я ему рояль хотел показать. Там задняя стенка разохлась, я подумал, он же с руками. Подошёл. Он в большой зале ковырялся с печкой. Говорю: я Тобиас Хорн. Я брат той, что на вас обиделась. Он сказал: «Здравствуйте». И сразу сказал, тем же тоном: «Знаю. Вы мне говорите это, чтобы посмотреть, что я сделаю. Я ничего не сделаю, я вашу сестру очень боюсь». — Тобиас засмеялся. Он очень приятно смеётся, как будто звенит чем-то мелким. — Он сильно фаль-

шивит, Агнес.

— В чём?

— Вообще. Он всё время, ну, вот ты знаешь, как настраивают. У него весь голос стоит на полтона выше, чем на самом деле. Вот такая у него привычка, как у певца. А потом он сам себя слышит и опускает. И потом ещё немножко не дотягивает. Я таких ни разу не встречал. — Он потёр нос. — Он сказал, что ему нельзя играть. А я ему говорю: а зачем вы тогда привезли гитару? А он говорит: я её не могу никому оставить, на ней нельзя играть никому другому, она никому не нужна. Ага. Ну, а пальцы как?

— Что?

— Твои. Весь день. Он с тобой четыре раза говорил. Я считал по шагам. Он тебе что-нибудь врал?

Я посмотрела на свою правую руку. На столе, на промо-кашке.

Обычная рука. Чернильные пальцы, заусенец на большом. Чешется с тех пор, как я помню себя, чуть ли не постоянно. Сегодня, например, она горела из-за мясника. Из-за Гуса — утром, в обед и вечером. Мадам Шварц из совета прислала записку, что «всем сердцем с нашими крошками», я читала её стоя, и чуть не сломала ноготь о раму.

— Сегодня утром чуть не соврал, — сказала я. — Фие. Я видела, как он собирается. Потом не стал.

— Не стал, — повторил Тобиас.

— Это ровно ничего не значит. Он только что из тюрьмы.

У него пункт первый. Он боится, что его повесят.

— Он этого не боится, — сказал мой брат. Он уже встал и нащупывал дверь тростью. — Я тебе потому и говорю. Я, Агнес, слышал очень много людей, которые боятся. Спокойной ночи. Там в ящике у тебя, по-моему, опять шило, ты его убери. Ты сонная на него сядешь.

Он ушёл.

Я посидела.

Потом я взяла с полки вощённую бумагу, шило и линейку. Это было совсем не нужно, у меня ещё оставалось двенадцать тетрадей. Я провела на бумаге две линии и выдавила шесть точек. Потом ещё. У меня это теперь выходит почти без пальцев, сама рука знает. За стеной гудел дымоход. Откуда-то снизу, глубоко из дома, я слышала: туп-туп, туп-туп. Кто-то колот на дворе дрова, в десятом часу, в дождь, под навесом, потому что завтра в шесть утра надо начинать сначала.

Туп-туп.

Потом пауза, очень долгая. Как будто кто-то остановился, поставил топор и держится за бок.

Потом снова: туп-туп.

Я выдавила ещё строчку и провела по ней подушечкой большого пальца.

Я, между прочим, вовсе не собиралась этого писать. Рука написала. Я прочитала сама, как читает Тобиас, с закрытыми глазами.

«Двенадцать печей».

Я посмотрела на это. Смяла. И бросила в огонь. Он, кстати, очень хорошо горел.

Я не из тех, кто покупается на дрова.

Глава 4.

Жюльен

.

Двенадцать печей

Я прибыл в этот дом на рассвете, как странник в старой балладе, и утренний туман...

Это ложь.

Был дождь. Я слез с тюремной телеги, у которой воняло селёдкой, и чуть не упал. Вот как это было.

Давайте сразу договоримся. Мне велели говорить только правду, и я пробую. Я пробую это уже девять лет. Выглядит это так: я начинаю фразу, и она сама идёт туда, где красиво, как лошадь идёт в конюшню. Я её останавливаю и поворачиваю. Иногда приходится слезать и вести под уздцы. Это ужасно утомительно. Я очень советую вам не пробовать.

Если я где-нибудь снова начну про туман, просто пропустите.

* * *

Двенадцать печей.

Кухонная. Столовая, в бывшей бальной зале, две штуки, в обоих концах, размером с часовню. Младшие спальни, это

парадная и две гостевых. Малая зала, большая зала, кабинет графа Арвиля. Учительская. Старшие спальни, третий этаж, куда нужно нести дрова по чёрной лестнице, там сорок четыре ступеньки. Лазарет. И маленькая, чугунная, в чулане над кухней. Эта последняя на плане подписана мелким ровным почерком: «Моя. Топить в последнюю очередь. Можно не топить».

Первую неделю я топил её в первую. Она об этом не знает. Дымоход там общий с кухонным, можно спутать.

Я не сказал ничего красивого.

Я таскаю по три полена, как велела Марта. В шесть утра темно. На чёрной лестнице темно всегда. Мне это не мешает, я быстро выучил, что там на двадцать девятой ступеньке выбит край. Я очень много чего здесь знаю. Этот дом, понимаете ли, я знал раньше. Я приезжал сюда на Новый год с двенадцати лет. Она велела мне называть это место «наш дом». Она тогда уже говорила: «Вот увидишь, когда граф умрёт». Я стоял в этой самой столовой на паркете, в бархатной курточке, облитый фиалками, и граф Арвиль, высокий, желтоватый, очень вежливо спросил меня, что я читаю. Я ответил: Лукреция. Я не знал, кто такой Лукреций. Она велела.

А он посмотрел на меня и сказал: «Как вас зовут, юноша? Нет, по-настоящему?»

Я сказал: Жюльен.

Он сказал: «Ну да». И ушёл к окну.

Сейчас на этом паркете дети едят суп. Там, где он стоял,

поставили длинную скамью. Они едят очень шумно. Один, большой, толстый мальчик каждый раз перед едой ощупывает ложку и ещё раз проверяет, в ту ли сторону она лежит.

Там теперь очень хорошо.

Это, между прочим, правда. Я проверил. Я постоял и послушал себя.

* * *

Рёбра срослись к концу второй недели.

Плохо, конечно. Теперь я, наверное, всегда буду немного набок. Как и нос. У меня теперь всё немного набок, хоть в рамку вставляй. Нос мне сломал на втором году Жак Петерс, по кличке Свояк. Он ни в чём не был виноват, ему просто захотелось посмотреть, что будет. Они все этого хотели. Когда я вошёл в камеру, все долго смотрели, а потом кто-то сказал: «Глянь, какая девка». Но это я вам рассказываю не для того, чтобы вы меня жалели. Я заметил за собой и это тоже. У меня есть один такой приём. Голос становится ниже, пауза, взгляд в сторону: «Там было очень нелегко». Им кончается половина моих разговоров с женщинами.

Вот и не будем об этом.

Что ещё я знаю?

Я знаю, что её зовут Агнес. Я не имею права так думать, по пункту шестому. Я думаю «мадемуазель Хорн».

Когда я её в тюрьме увидел, я подумал, что это какая-то инспекторша из благотворительного общества. Чёрное платье с воротом. Волосы так гладко затянуты, что, наверное,

должны болеть. Очки как донышки от бутылок, и за ними два маленьких, сильно уменьшенных серых глаза. Это вообще не лицо, на которое смотришь. Я таких перевидал за свои двадцать лет работы немало. У нас это называлось: «Экономка». Я мог бы ей сказать что угодно, и она бы через неделю принесла мне свои сбережения.

Я открыл рот. Я сказал ей про первый снег.

И она, знаете, ничего не сделала. Ни бровью. Просто я увидел, как дёрнулось у неё плечо. Как будто что-то быстро обожгло руку там, под столом. И эти маленькие глаза за стёклами на меня посмотрели. Я таким взглядом и сам могу посмотреть на кусок мыла, который опять не застыл. И мне стало так стыдно, как не было никогда.

Я не знаю, что это было.

Я сразу вспомнил девочку с подносом. Семнадцать лет, очки, поднос с пирожными, все эти пирожные у меня на сапогах. Я ей тогда сказал что-то про ум. Я помню, в книге у нас было: «Девушка Хорн, плем., очки. Опасна, смотрит. Отвлечь лентой». Я подарил ей ленту. Мне потом мадам велела спросить, не надо ли что-нибудь сделать с этой девушкой, и я ответил: «Что вы, мадам. Это просто экономка».

* * *

Я ещё хотел рассказать про вдову Кремер.

Нет. Не буду. Это я ей обязан сказать, а она не спрашивает. Она вообще ни о чём меня не спрашивает. Она каждое утро в шесть сорок проходит мимо с ключами и говорит:

«Мирр, в учительской дымит». А я отвечаю: «Да, мадемуазель Хорн». Я потом иду и чищу. Ей, кстати, очень надо бы носить шерстяные чулки потолще.

Я это не говорю вслух. Не беспокойтесь. Это я для себя.

* * *

Вот как это делается, кстати говоря.

Вечером, после вторых печей, мне полагается час над письмами. Такой уговор со следователем. Вайс присылает копии с нарочным, раз в три дня. Я сижу в дровяном чулане на колоде. У меня есть свеча и чёрный ящик, в который я складываю прочитанное и в который Марта кладёт мне хлеб.

Мне прислали всю вдову Гальт, сто шестнадцать штук. Я начал с первого.

«Милая госпожа, простите неучёному поэту дерзость этих строк. Вчера, у торговца лентами, я случайно увидел, как вы сняли перчатку...»

Я его прочитал и сразу, без всякой спешки, вышел во двор. Меня там вырвало за поленницей.

Перчатка.

Это мой. Я его написал в Глинске, когда мне было девятнадцать. Вдове судьи. Я тогда очень им гордился. Я его вообще сам придумал, вот это, что сняла перчатку, это очень хорошо работает. Женщинам за сорок никто не смотрит на руки, и они об этом всё время думают. Его потом переписали в книгу. Там, знаете, было такое оглавление, как у хорошей повара: «Первое письмо. Вдова, бездетная, образованная».

Она сама его составила, почерком как у нотариуса.

Там это второй номер. После «Вы уронили платок».

Я прочитал всё до конца.

Он очень хорошо учился, этот человек. Кто бы это ни был. Шаг в шаг. Первая неделя, стихи. Вторая, «я не смею». Третья, надо заболеть. Четвёртая, надо попросить совета в денежном деле, но только такого, чтобы она сама догадалась дать. Письмо номер сорок, про мать-покойницу. Тут он даже мой почерк немного копирует, вот этот хвостик у «д». Хвостик я придумал, когда мне было четырнадцать, чтобы было как у графа.

Я раньше думал, что знаю, что такое стыд. Оказывается, я не знал. Чтобы как следует его узнать, нужно получить собственные письма в копии, подшитые, с нумерацией, как улики.

Но вот что.

Я их читал и читал. Сто шестнадцать писем. И к письму семидесятому я стал морщиться. Понимаете, вот так же Тобиас морщится, когда я прохожу мимо. Я его сначала не мог поймать. Всё ведь правильно. Вот это, в семьдесят втором: «Нынче ночью я не спал и всё думал о том, как странно, что нас разделяет только мост». Это совершенно правильно. Мост в этом месте у нас и положен. Я бы написал то же самое.

Только я бы не написал это вдове Гальт.

Там у неё по книге муж, полковник, утонул. На переправе. Она боится мостов, в первой записи об этом сказано. Я

бы первым делом посмотрел, где она живёт, какие у неё там мосты. Я бы весь этот месяц её вокруг них обводил. Я ей носил бы письма сам, пешком, по самому длинному пути. И я бы ей ни за что не написал «мост».

Он не посмотрел.

Он её совсем не видит, понимаете? Он даже и не собирается. Я-то их всех видел. Я помню, как смеялась Эмма Кремер, закрывая рот рукой. Это было необходимо для работы, чтобы лгать, надо очень внимательно смотреть. А он не смотрит. У него книга. Он всё делает как надо, и ему так же всё равно, как тому, кто разделяет курицу. Он просто очень, очень хорошо учился.

Он молодой.

Я сидел на колоде. Свеча оплыла.

И кто, скажите на милость, это такой, если мадам уже десять лет сидит в Сент-Клер, а вторая копия книги лежит в деле у графа Холта? Кто и когда его учил? Я никогда его не видел. Мы с ней двадцать лет жили в одном фургоне. Я бы знал.

Я записал это, как велел Вайс. Простыми словами. Вышло очень плохо. Вышло так: «Письмо 72. Мост. Вдова боялась. Не смотрит». Я, между прочим, прежде за такое письмо самому себе дал бы пощёчину.

И тут я заметил, что уже одиннадцатый час.

* * *

В чулане над кухней у неё всё ещё горел свет.

Я это знаю, потому что мне надо было подбросить в дымоход, это просто мера предосторожности. Лестница там приставная. Там такая маленькая дверка, с задней стороны, для трубочиста. Я никогда в неё не заглядывал. Вы мне можете не верить.

Она чуть-чуть приоткрыта, там сквозняк.

Она сидела за столом спиной ко мне. Вся растёгнута до второй пуговицы, волосы сняты с головы, и они оказались какие-то совершенно другие. Много. Тяжёлые, тёмные, кое-как забранные шилом. Да, шилом. И она горбилась. Я не думал, что она умеет. Очки лежали на столе. Она их сняла. Держала перед собой лист и смотрела на него с расстояния примерно в три пальца, почти уткнувшись носом, как очень старая черепаха. И что-то делала рукой, медленно, с каким-то скрежетом. Она придвигала линейку, втыкала шило и снова придвигала. Правый локоть у неё был весь белый от мела. Потом она положила шило, закрыла глаза.

И провела по бумаге пальцем.

Вот так. Подушечкой. Слева направо. Очень медленно.

Я стоял на лестнице, в темноте, с поленом.

Я видел, как женщины читают мои письма. Я, пожалуй, видел это чаще, чем кто-нибудь на свете. Я знаю, как они сначала пробегают глазами, а потом останавливаются и подносят к губам. Как их потом кладут за корсаж. Я думал, что это самое бесстыдное и самое красивое зрелище, какое есть.

Я ошибался. Я никогда ещё не видел, как человек читает

с закрытыми глазами то, что написал себе сам.

У неё шевельнулись губы.

И она вдруг засмеялась. Тихо, один раз, горлом. Сказала вслух: «Квашня». И с огромным удовольствием высморкалась в рукав.

Я аккуратно положил полено в дымоход. Нет, разумеется, не в дымоход. Я спустился с лестницы и понёс его назад. Это у меня, по-видимому, что-то с головой. Там довольно много ступенек, и все их надо считать.

Вот я и считаю.

Ей, повторяю, нужны чулки потолще. Я это говорю как специалист. Здесь через щель под дверью тянет, как из склепа. Я завтра с утра её заткну.

Это совершенно ничего не значит. Я человек конченный и вообще на поруках.

Я просто хотел сказать, что это было красиво.

Это правда.

Вот почему я теперь так боюсь.

Глава 5.

В которой я учу истопника читать пальцами

В ноябре мне понадобились его руки.

Я подчёркиваю: руки. Отдельно от всего остального.

К тому времени у меня накопилось двести листов азбуки, и все они никуда не годились. Беда была в шиле. Если давить слишком сильно, бумага рвётся. Если слабо, точка пропада-

ет под пальцем на третий день. Нужна какая-то доска с ячеями, чтобы шило не гуляло, что-то вроде печатного станка размером с кирпич. Я нарисовала её сама. Отец сказал: «Похоже на вафельницу». Столяр на Кожевенной долго смотрел на рисунок и сказал, что сделает за шесть крон, и прибавил, что я его не обманываю ли. Я сделала сама, из куска дуба, кухонным ножом. Вышла вафельница, в которой не сходятся ряды.

Я сидела над ней на кухне в свой единственный свободный вечер, в четверг, и говорила ей всё, что о ней думаю.

— Опара безрукая, — сказала я. — Чтоб тебя на дрожжах подняло. Ты зачем мне здесь на полпальца уехала?

— Там неправильный угол, мадемуазель Хорн.

Я подняла голову.

Он стоял на пороге кладовой с корзиной угля. За шесть недель он перестал быть похож на покойника и стал похож на очень худого разбойника: Марта его стригла ножницами для баранины, и выходило лесенкой. Он теперь не заслонял левым локтем миску. На нём была старая ливрея графского кучера, которую Марта достала из сундука, и в ней он выглядел как обедневший герцог, что меня страшно раздражало.

— Я вас не спрашивала.

— Да, мадемуазель Хорн.

— Что вы понимаете в углах?

Он поставил корзину. Подошёл и встал в двух шагах. Он всегда встаёт в двух шагах. Я его ни разу не просила об этом.

В первую неделю я решила, что таким образом он пытается меня заинтриговать.

— Шесть лет варю мыло, — сказал он. — Там формы. Деревянные. Это вот, если резать, как вы режете, по волокну, всегда поведёт. Надо поперёк. И шип надо вот сюда. — Он не прикоснулся, только показал пальцем в воздухе. — Хотите, я сделаю? У меня как раз осталось немного времени после лазарета. Или это будет нарушение?

Я сняла очки, потёрла переносицу и надела снова.

— Это не нарушение, — сказала я. — Это будет к понедельнику.

Он сделал к субботе.

Я нашла её утром на столе в учительской, на чистой тряпке. Дубовая дощечка в две ладони с откидной латунной рамкой. Рамка — от старых каминных часов графа, я знаю эти часы, Марта давно их списала. Шесть гнёзд в каждой ячейке, сорок ячеек в строке, и всё это ровно, как зубы у дорогой лошади. И снизу ещё такой маленький упор, чтобы левая рука знала, где строка начинается. Я про него не думала. Я восемь лет искала этот упор и даже не знала, что ищу.

Я провела пальцем.

Потом закрыла глаза и провела ещё раз.

Я сидела в пустой учительской. Было без четверти семь. За окном начиналось серое, очень холодное утро. На подоконнике лежал первый снег. Ну, не лежал. Так, размазался.

Я выдавила на чистом листе шесть букв за столько време-

ни, сколько нужно, чтобы вздохнуть. Они вышли одинаковые.

Вы не представляете себе, что я почувствовала, и я не буду рассказывать.

* * *

— Закройте глаза, Мирр.

Это было в тот же вечер, в малой зале. Дети уже спали. Я сидела за столом с лампой. Перед ним лежал лист.

— Зачем, мадемуазель Хорн?

— Мне нужно проверить глубину точки на взрослой руке. У детей пальцы мягкие, у Тобиаса совершенный слух, а не кожа. У вас ожоги. Если вы прочитаете, то прочитает любой. Садитесь. Дайте руку.

Я сама не знаю, почему я сказала «дайте». Можно было просто показать, куда её положить.

Он сел. На детский стул, колени у него поднялись почти до подбородка. Посмотрел на меня. Он на меня, надо сказать, вообще очень редко смотрит. Обычно он смотрит чуть ниже уха, как будто там написано что-то мелкое. Закрыв глаза.

Я взяла его правую руку за запястье. Перевернула. Мне нужен был указательный, кончик.

Рука оказалась тяжёлая и совершенно сухая, горячая от печей. На подушечке пальца лежал гладкий белый рубец. Я на него нажала. Он не пошевелился. Потом я положила этот палец на бумагу, в начало первой строки, и немного сдвинула его вправо. Точки побежали у него под кожей.

— Чувствуете?

— Что-то такое, — сказал он. — Как будто кто-то очень маленький идёт по руке в сапогах.

Пальцы у меня не зачесались. Не знаю, зачем я продолжаю вам это сообщать.

— Это буква. Верхние две слева, потом нижняя справа. Я буду говорить вам, что это за знак, а вы будете запоминать. Вот это «а». Вот так, ещё раз. Это «б». Здесь «в», чувствуете, в ней есть промежуток?

— Да.

— Не надо давить. Кто вас учил давить? Чуть-чуть. Как будто собираете крошки.

Он чуть-чуть. Он очень быстро понял. Гораздо быстрее, чем младшие. У него, вероятно, ещё и от гитары где-то там оставалось. Я его вела по строке, держа за запястье, и он уже начал угадывать на шаг вперёд. Я слышала, как он дышит, ровно, сосредоточенно, приоткрыв рот. Лицо с закрытыми глазами у него было какое-то незнакомое. Как у человека, который очень занят и ещё не вспомнил, как надо выглядеть. Я подумала, что на нём и в самом деле не осталось ничего красивого, кроме ресниц.

Лампа потрескивала.

Мы дошли до конца строки.

— Ну? — сказала я.

Он не открыл глаз.

— Там какое-то слово, — сказал он. Медленно, как чита-

ют дети. Он вернулся и снова поехал пальцем. — К... в... а... — Брови у него поползли вверх. Палец дошёл до конца. — Мадемуазель Хорн, — сказал он с величайшей осторожностью. — Вы написали «квашня»?

Я выпустила его запястье.

— Это проверочное слово, — сказала я. — В нём шесть разных знаков.

Я очень сердито сказала. И совершенно не понимаю, что он нашёл здесь смешного. Он открыл глаза, смотрел на лист. Потом этот его левый угол рта медленно, криво поехал вверх и остался там. Было видно, что ему больно. Там, по-моему, треснула губа.

Вот только в этот момент, опять, как всегда, я поняла, что не слышу собственную руку. Я её отпустила, она лежала на столе. На ней был какой-то совершенно посторонний отпечаток, горячий, от его запястья.

Я встала.

— Глубина достаточная, — сказала я. — Можете идти. Завтра в учительской дымит.

— Да, мадемуазель Хорн.

Он встал. Детский стул качнулся. Он дошёл до двери, потом, не оборачиваясь, сказал совершенно нормальным голосом:

— Это лучшее, что я когда-либо видел. Эта штука. Я говорю не про вас, это не комплимент, пункт четвёртый не нарушен. Я про точки. Сколько это будет стоить, печатать?

— Вас это не касается, — сказала я.

— Да, — сказал Мирр. — Я знаю.

И ушёл.

Вот так я и узнала, что в субботу надо будет идти на заседание совета.

Нет. Это я, конечно, знала и раньше. Просто у меня наконец появилось, что им показать.

* * *

Попечительский совет школы на Садовой собирается раз в месяц в голубой гостиной у графини Ленц.

Совет завёл нотариус Клеменс, когда открывали школу: у дома должны быть уважаемые покровители, этого требует лицензия. Тогда их набралось девять. У всех большие дома, много свободного времени и привычка говорить о детях с придыханием. Им очень приятно. Раз в год мы привозим к ним младших, и они поют. Больше всего совет любит ставить свои подписи на листах пожертвований. Самих пожертвований, правда, я не видела с прошлой весны.

Председательствует графиня Ленц.

Графине семьдесят пять лет. Она маленькая, очень прямая, вся усыпанная брошками, с лицом балованной курицы, и она сорок лет живёт напротив нас через улицу. Она ещё при графе Арвиле душилась так, что её запах приходил раньше неё. От неё у меня начинает щипать вся правая рука, как только она скажет: «Дорогая!» Но она не злая. Просто ей скучно. Лет девять назад она чуть не женила своего сына,

виконта Альберта, на Лотте. Виконт Альберт сидел у стены. Ему за сорок. Он лысеет, очень боится матери, носит гвоздику в петлице и единственный из всех совета, кто иногда спрашивает, сколько стоят дрова.

Я вошла ровно в три. В чёрном. Под мышкой у меня была дощечка, в папке двадцать листов, на которых за ночь я выдала весь первый разворот букваря.

Вошла — и у меня защипало в носу.

Я не Лотта. Нюх у меня обыкновенный, пекарский. Я различаю только хлеб от не-хлеба. Но запах в гостиной стоял такой, что его можно было резать ломтями. Там всегда было душно. Но не так. Сладко, жирно, с такой влажной, цветочной тяжестью, как будто кто-то поставил посреди комнаты таз с тёплым вареньем.

Графиня сидела в большом кресле у камина. На ней было новое платье. Сиреневое. Открытое. В семьдесят пять лет.

Она порозовела. Понимаете? Я её вижу каждый месяц девять лет подряд. У неё всегда лицо как у варёной куриной грудки. А теперь у неё блестели глаза. Она сидела, откинув голову, и смеялась, совсем как девочка, закрывая рот веером.

Рядом с ней на низкой скамеечке для ног сидел ангел.

Я не преувеличиваю. Я очень не люблю преувеличивать. Он был словно с плафона в храме, такой, какие несут гирлянды. Лет двадцати трёх. Золотые, совсем золотые кудри до плеч, белая кожа, серые глаза, такие большие и такие крот-

кие, что от них хотелось подать милостыню. Узкий чёрный сюртук с белой розой. Он сидел, обхватив колено тонкими пальцами. И смотрел на графиню снизу вверх. Вот с таким лицом, будто ждал, что она сейчас велит ему умереть, и был заранее счастлив.

— Ах, дорогая! — закричала графиня. — Наша милая мадемуазель Хорн! Как вы вовремя! Я вам сегодня такое скажу! Проходите! Это наш новый попечитель!

У меня загорелась кисть.

— Господин Люсьен Сорель, поэт, — сказала графиня и нежно стукнула его веером по плечу. — Он согласился помочь мне с делами. Вы знаете, мне всегда было так трудно с цифрами. И он, представьте, посвятил вашим бедным крошкам целую оду!

Ангел поднялся. Легко, как будто его кто-то потянул за ниточку. Сделал шаг и поклонился, и его чудесные кудри упали вперёд. Я почувствовала, как у меня на лбу пробивается испарина. Вот этот запах, значит. Вот оно, это варенье. Мне его никогда, никогда, никогда в жизни не забыть. Я его нюхала всю ту зиму.

— Мадемуазель, — сказал поэт Люсьен Сорель. Голос оказался тёплый и чуть задыхающийся, полный благоговения. Я такой уже слышала. Десять лет назад, у торговца лентами. — Я столько слышал о вас. Вы посвятили жизнь несчастным. Позвольте... Вы не снимете перчатку? Я просто хочу поцеловать руку, которая...

Я не надела сегодня никаких перчаток.

Но это неважно. У меня рука горела так, что я, должно быть, очень странно её держала. Я её спрятала в складки юбки. Там на суставах, я потом увидела, лопнула кожа.

Я стояла в голубой гостинной и смотрела на него сквозь свои донышки от бутылок. Он улыбнулся мне. Очень кротко. Очень хорошие зубы.

А у него на лацкане, рядом с белой розой, совсем маленьким пятнышком прилипла какая-то крошка. От чего-то такого, что он ел перед самым заседанием. Он, наверное, не заметил.

Я не Лотта. Я различаю только хлеб и не-хлеб.

Но это была яблочная кожура.

Глава 6.

В которой вдовы пахнут фиалками

— Вы его видели, — сказал Мирр.

Это был не вопрос. Я пришла из голубой гостинной в половине седьмого, с папкой, и прошла прямо в дровяной чулан, чего ещё ни разу не делала. Он сидел на колоде со свечой и с письмами. Посмотрел на меня снизу вверх и сразу отложил лист.

— Почему вы так думаете?

— От вас пахнет, — сказал он. — Я не нюхач. Я просто двадцать лет был обмазан этим с утра до вечера. — Он встал. Лицо у него было очень спокойное и немного серое. — Маде-

муазель Хорн, снимите, пожалуйста, это платье. Я не... Простите. Я хотел сказать, повесьте на улице. На ночь. Иначе дети завтра не смогут заниматься. Покажите руку.

Я забыла, что держу её за спиной.

— Это от чернил, — сказала я.

И тут я сделала открытие. Вы думаете, когда лжёшь сама, не чешется? Не чешется. Но очень неприятно смотреть, как тебе не верят.

Он посмотрел на мою руку. На лопнувшую кожу на суставах. На красные полосы до запястья. Потом посмотрел мне в очки. Я видела, как у него в глазах что-то сдвинулось, медленно, одно к другому, как створки шлюза. Он посмотрел на собственные руки. Потом вспомнил, должно быть, тюрьму, скамью и то, как у меня дёрнулось плечо. И кто знает что ещё. Он очень наблюдательный человек. Двадцать лет работы.

Он ничего не сказал.

Он только очень медленно, с совершенно непроницаемым лицом, вынул из кармана ливреи баночку с гусиным жиром, которую стащил у Марты. Поставил на колоду и отступил на два шага.

— Там поэт, — сказала я. — Люсьен Сорель. Золотые кудри, белая роза, двадцать с чем-то лет. Сидит у ног у графини Ленц, ей семьдесят пять. С сегодняшнего дня он наш попечитель, она передала ему доверенность на счета. Попросил снять перчатку.

Мирр не шевелился.

— Первое письмо, — сказал он. — Глинск. Вдове судьи. Да. Это я. Ещё что?

— Они объявили, что на будущей неделе пришлют нам какого-то своего счетовода. «Просто познакомиться с нашими крошками». И от него пахло яблоками из кабинета.

— Вы показали им свою азбуку?

Я посмотрела на папку.

Там было двадцать листов. Весь первый разворот. Я, как дура, в три часа утра выбирала слова получше. Я вошла в гостиную с этим под мышкой, я месяц ждала, чтобы сказать: нам нужно шестьдесят крон на пресс, и каждый слепой ребёнок в королевстве сможет... Вот так я и простояла полчаса. Графиня обмахивалась и смеялась. Ангел смотрел на папку и кротко спрашивал, неужели это делается вручную, как трогательно.

— Нет, — сказала я.

— Правильно, — сказал Мирр. И, помолчав: — Можно мне завтра выйти? С вами. По пункту третьему. Я думаю, вам надо познакомиться ещё с одной дамой. Я только сегодня понял, кто она.

* * *

Вдову Лиммер мы посетили с визитом. На Ивовой набережной, собственный дом, два этажа, вышитые занавески и канарейка.

Я представилась как представитель благотворительного

общества. Его я представила как носильщика с коробкой образцов шитья. Вайс нашёл её для нас ещё три дня назад: уже второй месяц её банкир в тревоге присылал письма в сыск. Сама она никаких жалоб не подавала. Ей пятьдесят два года. Покойный муж — судовладелец. Детей нет.

— Вы не поверите, как я вам рада! — сказала вдова Лимер.

И я не почувствовала никакого зуда. Она и правда была рада.

Она была рада так, что у неё просвечивали уши. Такая круглая, маленькая, очень быстрая, в кружевном чепчике, сдвинутом набекрень. Она усадила меня на диван и принесла печенье. И показала канарейку. И показала, какие у неё вышиты подушки. Потом спросила, не правда ли, сегодня замечательная погода, хотя снаружи лил дождь. Она смеялась, сама себя перебивала и напевала что-то. Я сидела с чашкой на коленях.

В комнате стоял запах таза с вареньем. Не такой густой, как у графини. Но там, знаете, на комодке стоял такой маленький синий флакон.

Я вежливо спросила, не нужно ли ей что-нибудь подписать для нашей школы. Я вообще очень хорошо это умею.

— Ах, я бы с радостью! Но вы знаете, я теперь не могу распоряжаться, я скоро, представьте... — Она зарделась, в пятьдесят два года, и прижала руку к кружевной груди. — Ах нет, я не должна говорить! Это пока тайна. Но вы такая

милая. Вы ещё молодая, вы, наверное, поймёте. Вы знаете, я ведь думала, что это всё уже кончилось. Я думала, вот буду сидеть с канарейкой. А вчера на мосту, представьте... Я всегда очень боюсь мостов, но с ним я ничего не боюсь... Он идёт такой, совсем мальчик, и говорит: «Вы не должны меня слушать, я бедный дурак», и у него при этом такие несчастные глаза!..

Коробка с образцами в углу едва заметно дрогнула.

Он так и стоял там, у дверей, с коробкой в руках. Я на него не смотрела. Я очень хорошо чувствовала, как он там стоит. Она его не замечала. Все такие дамы не замечают носильщиков. Я смотрела на её кружева и думала о том, что у неё тоже кривой передний зуб. Видимо, это какой-то знак свыше. Она точно так же закрыла его рукой, когда засмеялась.

— Сударыня, — сказала я. Я поставила чашку. — Вы уже меняли завещание?

У неё остановилась рука над печенъем.

— Простите?

— Это ведь письмо номер сорок, — сказала я, — да? Про мать-покойницу. А затем он заболит. Не сильно, но так, что вы к нему съездите. Там у него будет такая бедная комната на чердаке и окно на воду. Вы привезёте ему бульон. Он откажется брать деньги. Он откажется три раза. А на следующей неделе к вам придёт его старый учитель, которому очень нужна расписка, — и он об этом ничего не будет знать...

Я говорила очень ровно. Я всё это запомнила наизусть,

вчера вечером он продиктовал мне по порядку, сидя на колоде. Я не знаю, почему я думала, что от этого может быть какая-то польза. Я только знаю, что мне тогда было семнадцать, и у меня горели руки, а она сказала: «Агнес, ты просто ещё не знаешь, как это бывает».

Вдова Лиммер смотрела на меня.

Круглое лицо медленно перестало двигаться. Краска сползла с него, начиная от чепчика. Глаза сузились, и я вдруг заметила, что они у неё не глупые. Совсем. Маленькие, цепкие. У неё, наверное, была очень хорошая голова, когда она вела книги судовладельца. Только сейчас эта голова смотрела на меня с такой ненавистью, какой я не видела и в Южной тюрьме.

— Вон, — сказала вдова Лиммер.

— Сударыня, я прошу вас только показать письма следователю Вайсу, он...

— Вон из моего дома, — сказала она. Голос тонкий и дрожит. — Завистливая, высохшая... Думаешь, я не вижу, откуда ты такая? Тебе бы кто написал хоть строчку! Сидишь и нюхаешь чужое счастье! Да на тебя за всю жизнь никто и не посмотрел! У него глаза!.. Ты знаешь, какие у него глаза?! Убирайся!

Я встала.

Я очень аккуратно взяла свою сумку, и перчатки, и зонт. Руки у меня, кстати, совсем не чесались. Ни на одном слове. Она ведь говорила чистую правду.

Канарейка очень весело запела.

* * *

До угла мы дошли молча. Дождь шёл уже как следует. Я шагала впереди с зонтом, он сзади, с коробкой, в шинели, из которой торчали запястья. На Ивовой набережной пахло рекой, мокрыми канатами и жареной рыбой. Какой-то возчик ругал лошадь. Я прошла мимо моста. Потом остановилась у парапета и стала смотреть на воду. Вода в Сольмаре жёлтая, и по ней плыла капустная кочерыжка.

— Вы очень плохо это сделали, — сказал Мирр.

Он подошёл и встал в двух шагах. Коробку он держал перед собой, обхватив её обеими руками. Дождь тёк у него с волос прямо по кривому носу.

Я обернулась.

— Что?

— Нельзя говорить им правду. — Голос у него был совершенно будничным. — Это не работает. Никогда. Вы ей сейчас объяснили, что она дура. Что она старая некрасивая дура, которую обманывают, потому что на неё больше никто не посмотрит. Это как раз то, чего она боится с шестнадцати лет. Она это знает и без вас. Он ей говорит, что это не так. Он единственный. — Он моргнул, стряхивая каплю. — Теперь она сегодня вечером прибежит к нему, расскажет всё, что вы сказали, плача. И он не будет ничего отрицать. Он скажет: «Значит, это правда. Я, значит, недостоин, забудьте меня». И уйдёт. А она догонит его на мосту. И к четвергу

отпишет дом.

Я молчала. У меня от очков на щеках были мокрые дорожки. Это, разумеется, дождь.

— Я вам говорю, потому что я так делал, — сказал он. — С Кремер. Когда вы ей сказали про поднос. Я вас тогда благодарил. Мысленно. Вы сильно сократили мне работу.

Я очень спокойно закрыла зонт.

Я не знаю, как так получилось. Он был довольно тяжёлый, с медной ручкой, отцовский. Я его подняла и ударила. Я целилась по голове. Я очень плохо вижу в дождь, поэтому вышло по коробке, и по плечу, и потом ещё раз, по той стороне, где рёбра. Образцы шитья посыпались в лужу. Я ударила ещё раз. Он не отступил и не поднял руки. Он просто стоял и слегка кивал при каждом ударе, как будто считал. Потом ручка у зонта отвалилась.

Я стояла и дышала.

Мимо прошла женщина с корзиной. Посмотрела. Сказала: «Правильно, милая. Они все такие». И пошла дальше.

— Вы могли бы сказать мне об этом до того, как мы туда пошли, — сказала я.

Голос не дрожал. Он у меня никогда не дрожит. Но вот с дыханием что-то было.

— Я хотел, чтобы вы посмотрели, — сказал Мирр. Он, морщась, наклонился и начал подбирать из лужи образцы шитья. — Я вам могу рассказывать про это хоть месяц. Вы всё равно думаете, что это про глупых. Нет. Она умная. Вы

видели её глаза? Она двадцать лет вела дело, у неё ни один грузчик ни разу не украл ни гроша. Эмма Кремер читала Вергилия по-латыни. Вы не поймаете его на этом. Вы никого не убедите. Они все знают, мадемуазель Хорн. Где-то там, очень глубоко. Они просто согласны. За такое стоит заплатить домом.

Он выпрямился. С мокрыми тряпками в руках. Я смотрела, как у него с левой брови стекает красная струйка, зонт всё-таки куда-то попал.

— Поэтому письма не помогут. И вдовы не помогут. Его надо брать на чём-то другом, — сказал он. — Я только ещё не знаю на чём. Но тут вот такая вещь. Он сделал в семьдесят втором письме ошибку. Про мост. Я вам говорил. А сегодня она сказала: «Я очень боюсь мостов, но с ним я ничего не боюсь». — Он вдруг замолчал. Постоял. На лице у него появилось какое-то странное, туповатое выражение. — Значит, он это уже исправил. После Гальт. Он учится. Он не просто по книге. Кто-то читает ему его письма, и указывает на ошибки. Точно так же, как она читала мои. Кто-то с очень хорошей памятью.

Над рекой где-то далеко ударил колокол. Четыре.

Я посмотрела на него.

— Она в Сент-Клер, — сказала я. — Вы сами говорили.

— Да, — сказал Мирр. — В Сент-Клер, на Вельской дороге. По четвергам там дозволены посещения от благотворительных обществ.

Мы стояли под дождём. Ручку от зонта я всё ещё держала в руке.

Я посмотрела на неё. Сунула в карман.

— Печи, — сказала я. — Четыре часа. Вы опаздываете.

— Да, мадемуазель Хорн.

Он пошёл впереди меня, прижимая к боку коробку.

И только когда мы уже подходили к Садовой, я поняла, что всю дорогу, от самого моста, мне очень хочется снова спросить его об одной вещи. Про письмо номер семьдесят два. Про то, откуда он знает, какие у кого мосты. Вернее, не об этом. «Я помню, как она смеялась». Вот это.

Я, разумеется, не спросила. С какой стати?

Марта вечером, не говоря ни слова, поставила перед ним на кухне миску и положила на лоб примочку. Потом посмотрела на меня, потом на сломанный зонт на столе.

— Я с этим согласна, — сказала Марта.

Глава 7.

В которой рота выходит на след

Гус стал говорить правду.

Это меня встревожило сразу. Я заметила на второй неделе ноября: он подошёл ко мне после обеда, сложил руки за спиной и сообщил, что съел в кладовой четыре яблока, что таблицу на одиннадцать не повторял и что обмакнул косичку Иды в чернила. Я ждала. Пальцы молчали. Гус стоял с лицом серафима.

— Что тебе нужно? — спросила я.

— Ничего, мадемуазель Хорн.

Шерстяной носок. Едва заметно. Вот теперь понятно.

Через два дня Ида и Ода, которые двадцать четыре часа в сутки друг другу поддакивают, вдруг заспорили, кто из них стянул у Малого пряник, причём обе брали вину на себя. В среду Кит вернул на место серебряную ложку и громко заявил об этом на весь коридор. А в четверг меня остановила Фия и спросила:

— Мадемуазель Хорн, а когда человек говорит очень-очень правду, это значит, что он врёт?

— Что?

— Жюль говорит, если человек тебе всё рассказывает сам, причём сначала про мелкое, надо пощупать, не держит ли он вторую руку за спиной. И смотреть, сколько раз человек сказал твоё имя. И я сегодня проверила. Вы со мной два раза сказали «Фия», а Гус девять.

Я очень медленно положила мел.

Я пошла на звук. Я не сразу сообразила, что это звук. Мы, вообще-то, почти не пользуемся старой прачечной в подвале. Там сырость, туда носят уголь. Но оттуда сейчас шло очень ровное тепло. Я спустилась, не торопясь, по боковой лестнице. Тихо, как научилась за девять лет. Дверь была прикрыта не совсем.

На перевёрнутых бочках и на мешках с углем сидели девять детей. Гус. Кит. Ида и Ода, держась за руки. Малый,

весь в чёрной пыли, сторбленный, занимающий половину помещения. Лисса и Натали из старших, со строгими лицами. Двое новеньких. И на самой высокой куче, болтая ногами, сидела Фия.

Мирр стоял посреди с кочергой. Спинай ко мне. Закатанные рукава, топка открыта. Он шуровал и, не поворачиваясь, говорил. Голос ровный, спокойный. Таким голосом, должно быть, сержанты объясняют, как чистить ружьё.

— ...и вот теперь Кит подходит к Иде. Иди, Кит. Ты хочешь её пряник. Что ты ей скажешь?

— Отдай пряник, — сказал Кит.

— Плохо. Она не отдаст. Гус?

— Я скажу, что у неё очень красивый голос, — сказал Гус.

— И как жалко, что у неё горло болит.

— У меня не болит, — сказала Ида.

— Вот, — сказал Мирр. — Уже разговариваете. А сейчас, Ида: что он сделал? Ты слышала?

— Он... Он нагнулся.

— К тебе нагнулся. Голос у него стал мягче и пониже. Кто ещё слышал? — Несколько рук поднялись. — Он дышит медленно, потому что заранее приготовился. Правдивые дышат как придётся. А нос? У кого нос? Малый, чем пахнет?

— Вот так, — глухо сказал Малый. — Он съел лук. И потом мяту. Чтобы не пахло, как будто он съел лук.

— Отлично. Значит, он заранее думал, что подойдёт близко. Для чего человеку подходить близко? Запомните. Всё это

на сегодня называется «Первый приём». Все лжецы на свете, все до единого, начинают с того, что говорят вам, какой вы особенный. Что у вас такой голос, такой ум, такая душа, какой нет ни у кого. — Он выгреб золу, стукнул кочергой о край. — Если кто-нибудь это вам скажет, что вы делаете?

— Держимся за карман, — сказали хором девять голосов.

— Правильно. Если у вас нет кармана?

— Кричим Марту.

— Ещё правильнее.

У меня чесалась левая пятка. Она, разумеется, ни при чём. Просто я очень долго стояла на одной ноге.

Я толкнула дверь.

Сразу наступила такая тишина, какая бывает только среди слепых детей, когда они узнали твой шаг. Гус начал незаметно и совершенно бесшумно перемещаться к угольному люку. Фия обрадовалась и помахала.

Мирр обернулся.

На лбу у него ещё не сошёл синяк. Он посмотрел на меня, и лицо у него снова стало как у кучера на похоронах. Поставил кочергу. Стал по стойке смирно.

— Что здесь происходит? — спросила я.

— Топка, мадемуазель Хорн.

— Мирр. Пункт первый.

Он сглотнул.

— «Урок вранья», — сказал он. — Они сами так называли. Четверг и понедельник, с пяти до шести. У них это вместо

гимнастики. Сначала ко мне пришёл Гус. Он хотел узнать, как надо было с той банкой. Я ему сказал: никак не надо, это глупая ложь. Он пришёл на другой день и привёл Кита. Я им ничего дурного... — Он остановился. Посмотрел на кочергу. — Нет. Это неправда. Я учу детей лгать, мадемуазель Хорн. Вы имеете полное право написать Вайсу. Я только хотел...

— Нет, вы их не лгать учите, — сказала Фия сверху. — Мы теперь знаем, как нас будут обманывать. Потому что мы не видим, и все думают, что нам можно. Жюль сказал. Вот вчера приходил этот дядя, счетовод, от совета. Он сказал мне: «Какая у тебя чудесная косичка, деточка». А у меня косичка плохая. Я её сама заплетала.

Я смотрела на неё.

На шестилетнюю, абсолютно слепую девочку на мешке с углем. С разными косичками. Вся чумазая, как трубочист.

Меня в её возрасте никто такому не учил.

Я не умею ничего этого. Я только чешусь. Я девятнадцать лет чешусь и стою, как истукан, и говорю: тётя, он лжёт. Тётя, он лжёт.

— Как его зовут? — спросила я. — Счетовода.

— Господин Бек, — сказала Фия. — Он щупал стены. Там, где сукно. Спросил: а это зачем? И ещё считал шаги, когда шёл в кабинет. И потом сказал кому-то в коридоре: «Покупатель не должен видеть этот мусор». Мне было отлично слышно, я сидела под лестницей. От него пахнет как будто табаком, но он не курит. Кит понюхал, это нюхательный, из

лавки на углу Королевской.

— Два раза на дню берёт, — подтвердил Кит из-за Мало-го. — У него в левом кармане. Табакерка серебряная. Там гравировка, на ощупь: «Л. от любящей Л.». Я вернул, я только посмотрел.

Я сняла очки.

Подержала. Надела.

Покупатель.

Голова у меня работает медленно, но прочно, как отцовская опара. Она сейчас поднималась. Я посмотрела на девять чумазных лиц, повёрнутых ко мне и немного в сторону. Каждое ждало. Ни один не сказал «простите». Кто-то шмыгнул. У Малого на щеке было что-то вроде слезы, он вообще очень боится, что его будут ругать. За ними гудела топка. Этот дом стоял над нами весь целиком, со всеми его сорока парами рук на шёлковых обоях.

Кто-то считает здесь шаги.

— Мирр, — сказала я.

— Да, мадемуазель Хорн.

— Вы сообразили разделить их на смены?

Он, по-моему, не сразу понял вопрос.

— Простите?

— По вашей методе. Девять человек. На этом этаже есть ещё тридцать один ребёнок, но их пока не надо. Кто-то должен быть при совете, когда попечители приходят по средам. Кто-то при этом Беке. Гус может поднести господину счето-

воду чаю, он это умеет. Кит может уронить ему на ногу что-нибудь тяжёлое, чтобы тот снял сюртук. Ида и Ода будут сидеть в коридоре и повторять стихи. Никто никогда не обращает внимания на слепых детей, которые повторяют стихи. Они для них мебель. — Я перевела дух. — Пишите всё, что услышите. Я вам дам точечные доски. Кто-нибудь может читать при посторонних собственные записи, не глядя, а посторонний ничего не поймёт. Я думаю, это будет неплохо. Как вы думаете?

В бывшей прачечной стало очень тихо.

Потом Гус вернулся от угольного люка. Я не слышала, как он это сделал. Он просто оказался на прежнем месте. На его лице разливался неземной свет, какой, наверное, бывает у святых, которым только что показали подвал с вареньем.

— Мадемуазель Хорн, — сказал он благоговейно. — Вы разрешаете?

— Я разрешаю это только по четвергам и понедельникам, — сказала я, — после таблицы умножения. И если хоть одного из вас я поймаю на применении первого приёма ко мне или к Марте, вы будете чистить двенадцать печей.

— Мадемуазель Хорн, у вас сегодня такой удивительный голос... — начал Гус.

У меня кольнул мизинец.

— Гус.

— Я только проверяю, — сказал Гус. И сразу же, с уважением, взял себя за карман.

* * *

Я подождала, пока они ушли.

Это заняло некоторое время: пришлось отмывать Малого. Они топали по лестнице, и наверху Лисса уже командовала: «Ровно, ровно, Ода, не лезь, ты в первой смене». Потом всё затихло. Мирр закрыл заслонку и стоял, вытирая руки тряпкой. Он на меня не смотрел. Посмотрел один раз, сбоку, совсем быстро, как смотрят на собаку, про которую ещё не ясно, кусается ли.

— Зачем вы это делаете? — спросила я.

Он подумал.

— Они мне сказали, — ответил он медленно, — что к ним приезжают добрые люди по средам. И всё время гладят. Я не знаю. Я шёл с дровами, смотрю: приехала мадам Шварц. Гладит Иду, и говорит, какая она сегодня бледненькая. А потом достаёт очень маленький кусочек пряника. А Ида стоит и улыбается. Она не видит лица мадам Шварц. У мадам Шварц в это время лицо такое, как будто у неё в руке мышь. А Ида всё-таки улыбается. — Тряпка остановилась. — Я подумал, ей потом будет двадцать лет. И кто-нибудь ей скажет, что у неё голос.

Я посмотрела на него.

Я ничего не имею против молчания. Я его вообще предпочитаю. Но тогда, в этом подвале, я заметила, что слушаю, как у нас гудит дымоход, и что он отчего-то совсем не дымит. И в учительской больше не дымило. И у меня в комнате

с ноября не было сквозняка из-под двери. Я каждый вечер чувствовала ногами что-то там, какую-то плотно свёрнутую старую шинель.

— Ребёнка, — сказала я, — в прошлый понедельник вырвало углём, потому что вы разрешили ему лизнуть кусок для опыта.

— Да, мадемуазель Хорн.

— И гимнастику никто не отменял.

— Нет, мадемуазель Хорн.

— Вот и всё, — сказала я. И пошла к двери.

На нижней ступеньке я остановилась. Я не обернулась.

— Откуда вы знали, что я боялась лент? — спросила я.

Там довольно долго ничего не происходило.

— Простите?

— Вы мне подарили ленту. Голубую. В тот год, когда приходили по четвергам. Вы сказали тёте: «Ваша племянница умная, ей надо что-нибудь простое». И вы подарили мне ленту, хотя все остальные девочки получили бы, я думаю, стихи. Я очень хорошо помню. Я весь вечер потом не могла понять, отчего у меня такое чувство, как будто я чем-то подавилась. Я ведь тогда не хотела, чтобы мне кто-нибудь писал стихи. Я хотела, чтобы мне кто-нибудь просто подарил ленту. Как вы это узнали?

Я слышала, как за спиной тихо стукнула о камень кочерга. Наверное, он её поставил.

— Вы смотрели на чужие, — сказал голос Мирра. Глухой,

безо всякого бархата. — На том базаре. У вас у самой было очень старое платье, а вы, не поворачивая головы, смотрели на витрину с лентами. Минуты две. И потом сказали себе что-то и больше не смотрели. Такое было лицо. Я записал в книгу: «Очки. Опасна. Отвлечь лентой».

У меня зачесался... Нет. Ничего у меня не зачесалось.

— Вы её сожгли, — сказал он. — Вы правильно сделали.

Я стояла на ступеньке и держалась за стену.

Я думала о том, что я, пожалуй, не могу сказать, что хуже. Что всё это было записано в такую специальную книгу. Или что за всю мою жизнь больше никто, кроме него, этого не заметил.

— Топите как следует, — сказала я.

Поднялась и вышла.

На следующий день Гус подал господину Беку чаю и пролил его прямо на сюртук.

Глава 8.

Жюльен

.

Двенадцать крон

На Садовой улице растут липы. В ноябре они стояли чёрные, мокрые, с вороньими гнёздами, и шуршал под ногами такой золотой ковёр...

Он был бурый. Его не убирали две недели, и он вонял, как компост.

Простите. Я всё ещё работаю над этим.

Я мёл его.

Это входит в пятый пункт, как мне было разъяснено. «Двенадцать печей, а также двор, парадное крыльцо и прилегающий тротуар, поскольку мне стыдно перед соседями». Шла третья неделя ноября. Было утро субботы, тихое и зябкое. Над Королевской улицей висела жёлтая муть, в воздухе пахло угольным дымом и булками от Хорна с угла. Я мёл перед парадным, в ливрее покойного кучера и в разбитых сапогах, с метлой, сделанной Малым на уроке «Руки». У метлы была та особенность, что она гребла вправо. Я тоже.

За ночь выпало немного снега и сразу растаяло. Я думал о том, что Гус, кажется, опять что-то затевает.

Я слышал шаги и не поднял головы.

Вот что я вам скажу, это очень полезно, побыть подметальщиком. Я раньше думал, что знаю, как быть незаметным. У меня там был целый приём: скромно потупить у стены, чтобы дама сама подошла. Нет, это всё пустое. Берёте метлу. И всё. Вас нет. Мимо идут дамы. Идут господа, которых вы, очень может быть, когда-то обыграли в Глинске. Идёт сегодня графиня Ленц. Я её знаю с двенадцати лет, я ей целовал ручку и читал Лукреция. Она прошла так близко, что её шлейф лёг мне на метлу. Я его снял. Она меня обошла, как урну.

Шаги были лёгкие и какие-то особенно приятные. Чистая подошва, новая кожа, очень хороший, упругий шаг. Я такой

ставил себе два года перед зеркалом, с книжкой на голове.

Они остановились в двух шагах от меня.

И до меня дошло. Сначала в затылок, потом в горло. Я стоял, сжимая метлу, с открытым ртом. Я перестал видеть тротуар. Меня, понимаете, два десятка лет обливали этим утром и вечером, и оно ушло из меня только к четвёртому году. Я думал, что совсем ушло. Семь лет назад я шёл через вельский рынок, и там старуха продавала пучки первых весенних фиалок, настоящих, сырых, лесных. Я тогда сел прямо на мостовую.

Это были не лесные.

Я очень хорошо знаю этот запах. Там кроме цветов есть ещё нотка жжёного сахара и каплю чего-то такого, вроде кошачьего... Я мог бы вам назвать пропорции. Я разливал её каждое воскресенье в синие флакончики, с шести лет и до двадцати шести.

— Доброе утро, — сказал кто-то. — Как вы метёте. Нельзя же так. Вы ведь гребёте всё вправо.

Я поднял голову.

Мне сказали, что он ангел. Мадемуазель Хорн сказала. Она сказала это очень сухим голосом, обмазывая суставы гусиным жиром.

Это слабо сказано.

Такие бывают один раз на сто тысяч. Я это говорю как профессионал, как барышник говорит о лошади. Двадцать три, двадцать четыре, и все пропорции, как у греков. Вот это

золото на голове натуральное, но она его подправляет, ромашкой и уксусом, ещё там, в корнях. Я видел, как блестит. Плечи поставлены. Левая рука как бы случайно заложена за борт сюртука: я знаю, сколько часов на это уходит. Кроткие серые глаза, очень большие, чуть-чуть влажные. Для этого надо, чтобы на ночь кто-то капал розовую воду.

Он стоял на чистом краю тротуара, с белой розой. В ноябре. И смотрел на меня с лёгким интересом.

И я вам клянусь, я этого молодого человека никогда раньше не видел.

Но я его знаю.

Как вы знаете собственные зубы.

— Прошу прощения, ваша милость, — сказал я и потупился. Голос я сделал, как у лакея. У меня здорово получается. — Метла-с.

— Да-да, метла, — сказал он. — Милая вещь. Я очень рад видеть вас за работой. Вот, значит, как выглядит старость.

Он сделал ещё один шаг. Теперь он стоял почти вплотную, и голос у него опустился. Такой молодой, тёплый, с лёгкой хрипотцой, в которой сразу чувствуется, как ему больно жить. И там, чуть дальше за этой хрипотцой, не было совершенно ничего. Ни-че-го. Он говорил со мной и улыбался, как разговаривают с очень интересным насекомым.

— Здравствуй, старший, — сказал ангел.

* * *

Я, наверное, очень долго молчал.

Я заметил, что он это отметил. Глаза у него на мгновение сдвинулись на мой нос, на брови. Потом на руки, на пальцы, обхватившие палку. Наверное, делал в голове запись. А как же. «Ж. М. Постарел. Нос сломан. Держится. Не закричал».

— Ты не знаешь, кто я, — сказал он. — Какое удовольствие. А ведь я думал, она тебе хоть намекнула, когда ты к ней приходил... Да, ведь ты к ней никогда не приходил. Ни разу, за десять лет. Шлешь ей мандарины через эту свою слепую? Нет, не шлешь. — Он засмеялся. Очень мелодично, как звенит ложечка в стакане. — Вот уж от кого я никак не ожидал. Я, между прочим, наизусть знаю твои письма. Глинск, вдове судьи. «Вы сняли перчатку». Это чудо что такое, правда. Я рыдал, когда мне было двенадцать.

— Двенадцать, — сказал я.

Голос был как будто кто-то подвинул шкаф.

— Да, в двенадцать лет. Ты уже к тому времени давно большой был. Двадцать четыре или что-то вроде. Ты приезжал к нам в Альвизу, на Новый год, помнишь? Ну нет, откуда тебе. Ты был в новом плаще, ты сидел с ней в трактире, а я держал лошадь. Я был такой чумазый мальчик при конюшне. А ты мне дал мелочь и даже не взглянул. — Он наклонил голову. — Ты знал, что все эти годы у неё в Альвизе был ещё один фургон? Там такая маленькая старая тётушка за мной приглядывала. Меня там очень хорошо учили. Сначала Лукреций, потом перчатки. Каждый вечер, таз с водой. Ты, говорят, плакал. Я, представь, нет.

Я стоял.

Я смотрел на золото, на белую розу. Сзади по Садовой ехала телега с углём.

Мне было семнадцать лет, когда она однажды вернулась в фургон с юга, очень весёлая, и сказала: «Я вложила кое-какие деньги». Она посмотрела на меня, как смотрит хозяйка на старую, хорошую, ещё годную кастрюлю. Я тогда только что провернул свою первую вдову в Каменце, потом там вышел скандал. Лишние деньги у нас были, и я подумал: опять в какие-нибудь духи.

Она вложила кое-какие деньги.

— Сколько? — сказал я.

— Прости?

— Сколько она за тебя дала?

Он посмотрел на меня.

И вот теперь, на одно очень маленькое мгновение, там что-то промелькнуло. Я потом долго думал, не показалось ли. Как когда идёшь ночью и видишь, как в совершенно тёмном доме за ставнями кто-то прошёл со свечой. Он всё так же улыбался. У него только что-то чуть-чуть дёрнулось под левым глазом, как у новичка за карточным столом, когда ему приходит хорошая карта.

— А ты как думаешь? — сказал он очень легко.

Я думал.

Двенадцать.

Я помню цифру. Святая Агата, сад, мандарины. Она при-

ехала в жёлтой шляпе, сестра Марта плакала. Двенадцать крон. Я всё думал, что, наверное, столько стоит хороший щенок. Потом, в тюрьме, я посчитал. Там, знаете, вообще много времени, чтобы считать. За четырнадцать вдов мы с ней выручили примерно девяносто тысяч. Я себя чувствовал очень удачным вложением.

— Двенадцать, — сказал я.

— Хозяйка у нас такая, — сказал он нежно, — постоянная. Не любит менять цены. — И поправил розу. — Ну что? Рад познакомиться? Я ведь, собственно, только поздороваться. Ты мне здорово помогаешь, знаешь ли. Всё уже подшито, мыло твоё, бумага, флакон. Это даже красиво. Я думал, ты хоть немного посопровотвишься, а ты сидишь у себя на колоде и читаешь. Письмо семьдесят два, про мост. Ты заметил! Я очень смеялся. Она, между прочим, мне сразу указала: «Видишь, чем ты хуже. Жюльен бы посмотрел». Только за эти годы я её немного устал слушать. И кому ты теперь это покажешь? Вайсу? У него есть королевская печать на мне и письмо от президента Академии. И графиня Ленц рыдает у меня на плече. А у тебя что? Два кривых ребра и старая дева в очках.

Он наклонился ко мне. Совсем близко. Жжёный сахар. Кошка.

Он был на голову ниже меня, между прочим. На полголовы. Я раньше не заметил.

— Новый год уже скоро, — сказал он доверительно. —

В начале января повесят одного негодяя, королевская амнистия к празднику, ещё кое-кого выпустят, совсем старых и больных. А совет единогласно решит продать ненужный особняк. Поскольку дети уже будут размещены в хорошем приюте за городом, где есть воздух. Ты не волнуйся, она всё проверила. И она хочет только одного, как и хотела всегда. Вернуться к себе домой. Умереть, понимаешь, в своей постели, там, где она закрыла ему глаза. — Он выпрямился. Посмотрел на липы, на медную рыбу на трубе. Лицо у него было мечтательное. — Смешно, правда? А ведь это единственное, чего она вообще когда-нибудь хотела. Пятнадцать лет. Она ради этого нас двоих и купила. Ну, ты прав. Двадцать четыре кроны за всё. Я бы на твоём месте был спокоен: ты ещё очень дёшево отделался.

Он коснулся двумя пальцами края шляпы.

— Там, кстати, — сказал он, — слева, у самой решётки. Ты опять пропустил.

И пошёл. Лёгкий, очень стройный, он шёл через улицу к дому графини. Лист прилип у него к подошве, он остановился и аккуратно снял его тросточкой.

Я проводил его взглядом.

* * *

Я вам сейчас скажу, что я подумал.

Я подумал вовсе не про то, что меня повесят. И не про школу. Я очень хотел бы сказать, что я подумал про детей. Может быть, позже.

Я стоял с метлой на Садовой и думал: а у него-то, должно быть, тоже в Альвизе было что-нибудь. До фургона. Какой-нибудь сад. Какая-нибудь там монашка, которая ловила его за ухо. Что он там ел с ветки, этот мальчик при конюшне, чумазый, пока не приехала жёлтая шляпа?

Он этого не помнит. Я это видел. Я не помнил двадцать лет.

Мне понадобилась слепая девочка восемнадцати лет, которая понюхала меня в повозке, когда её похищали.

Кто понюхает его?

И я заплакал.

Я прошу прощения. Я знаю, что это мой обычный приём. Вайс на допросах уже видел. Я просто, знаете, немного постоял там, отвернувшись к решётке. Там действительно оставалось довольно много листьев.

Я их домёл.

Дверь парадного отворилась. На крыльцо вышла девочка в разных косичках и повернула лицо к улице. Подёргала носом. Потом ещё раз.

— Жюль, — сказала Фия. — Ты плачешь или у тебя насморк? Здесь пахнет так, как пах новый дядя с розой. Только он уже ушёл. Мадемуазель Хорн тебя зовёт. Там пришла бумага с большой печатью, и она сказала такое слово, какое мне нельзя повторять. Там написано «Ревизия». А что такое «квашня безмозглая»?

Я вытер лицо рукавом. Рукав был от покойного кучера,

он пах лошадьё.

— Это такой вид ангела, — сказал я.

И пошёл докладывать.

Первый раз в жизни я шёл кому-то докладывать правду, и ноги у меня подгибались, как в тот день, когда я шёл на первый допрос.

Я даже не заготовил, что скажу.

Вот что мне было непривычнее всего.

Часть вторая. Долги

Глава 9.

В которой к нам приходит ревизия

— Параграф сорок один, — сказал старший инспектор Ройс. — Апчхи.

Он стоял посреди нашей столовой, в безупречном сером сюртуке, с очками на носу и с блокнотом в руке, и чихал на полынь. Полынь висела пучками над каждой дверью. Я велела развесить её вчера, по всему дому, сорок фунтов, на последние деньги: Мирр сказал, что против той воды это единственное, что хоть как-то работает.

Аларика Ройса я знаю девять лет. Он брат Лотты, он вырастил её сам, и он единственный чиновник в Авернии, у которого пальцы у меня не чешутся никогда. У него на это просто нет времени. Весь он состоит из параграфов. Он приехал из Вельска на два дня, потому что совет запросил у Пала-

ты «независимую экспертизу состояния здания». Совет, очевидно, не подумал, кого именно могут прислать.

— Параграф сорок один Положения о благотворительных училищах, — сказал он, вытирая нос. — «Помещение должно быть сухим». Мадемуазель Хорн, у вас протекает крыша над западным флигелем.

— Да.

— На третьем этаже в двух спальнях плесень.

— Да.

— Лестница не соответствует.

— Чему?

— Ничему, — сказал Аларик с мрачным удовлетворением. — Ей двести лет. Я обязан это записать. Я всё это записываю. Параграф девятнадцатый: «Ревизор обязан записывать». Вы понимаете, что у них всё основание?

Я понимала. Они ходили по дому третий день.

Господин Бек, счетовод совета, был человек лет сорока пяти, с жидкими усиками и в сюртуке, который уже несколько раз пытались отстирать от чая. За ним ходил виконт Альберт Ленц, в качестве представителя совета, с гвоздикой. Виконт спотыкался о наши сукна на стенах и каждый раз извинялся перед стеной. Потом приходил сам поэт. Он гладил младших по голове, и они, кстати, очень вежливо хватались в это время за карманы. У него при этом не менялось выражение лица. По-моему, он никогда не видит детей. Он их как будто считает.

Я проверила книги сама. Я сидела над ними три ночи подряд. Всё у меня было в порядке, до последнего гроша, и это было очень плохо. Весь порядок состоял в том, что у нас есть долг мяснику, долг булочнику (это мой отец, он говорит, что не считается), двести одиннадцать крон за уголь. Рента Лотты покрывает ровно столько, сколько покрывает. На крышу нужно ещё двести. Я их просила у совета в прошлом году. И в позапрошлом. Они прослезились.

Я видела резолюцию ещё до того, как её написали. Мне её продиктовал Мирр, с кочергой в руке. Он сказал: «Ну вот. Письмо номер девяносто. "Милая, вы слишком устали. Вам не надо больше заботиться об этих бумагах. Подпишите, и всё будет легко". Только теперь оно адресовано вам».

* * *

В тот же вечер я сама поехала к следователю Вайсу. С Мирром. Пункт третий.

У Вайса в кабинете под самой крышей сыскного управления стояла кружка с остывшим чаем, а на столе лежало дело толщиной с мою голову. Он слушал нас, почёсывая кадык.

Я сказала: Люсьен Сорель. Мирр сказал: двенадцать крон, Альвиза, второй фургон, письмо номер семьдесят два. Он рассказывал ровно и очень плохо, как читает дурной ученик. Я прислушивалась к пальцам. Они молчали всё время. Даже когда дошло до самого неправдоподобного. Вайс выслушал всё до конца. Потом встал, подошёл к окошку и долго смотрел во двор.

— Значит, так, — сказал он. — Подследственный, которому грозит виселица, сообщает мне, что настоящий преступник это поэт, у которого на руках рекомендация президента Королевской академии и который ужинает с министром юстиции у графини Ленц. Свидетелей их разговора нет. Вдова Лиммер отказалась со мной разговаривать и подала на вас жалобу, мадемуазель Хорн, за оскорбление. Письма писал кто-то другой, потому что так говорит нос госпожи Ланге, которая уехала на север, поскольку у её сына корь. — Он повернулся. — Вы знаете, что мне сегодня сказал начальник? Он спросил меня, зачем я вообще выпустил этого субъекта и когда я намерен его вернуть. Откуда Сорель родом?

— Из Альвизы, — сказал Мирр.

— Он говорит, из Каменца. Дворянская метрика, копия заверена. Я проверял. У всех теперь есть метрики, господин Мирр, у вас они тоже когда-то были, я их читал, очень красивые. Принесите мне такую бумагу, которую не писал человек с чудесным почерком. Принесите мне книгу прихода, живого свидетеля, расписку. Хоть что-нибудь, что я смогу положить перед судьёй и не услышать смех. — Он подошёл к столу и сел. Кадык у него двинулся вверх и вниз. — Я вам верю. На всякий случай сообщаю. Это ни на что не влияет.

Я посмотрела на свои пальцы.

Ни укола.

На обратном пути начало подмораживать. Мы шли по Канатной. Я шла вперёд, он сзади, я слышала, как хрустит под

его сапогами грязь. На такой мороз у него никакой одежды нет, кроме этой кучерской хламиды и шинели с чужого плеча. Я подумала, что надо бы спросить у Марты. И сразу подумала, с какой стати.

— Мирр, — сказала я, не оборачиваясь.

— Да, мадемуазель Хорн.

— Этот приют. Он ещё стоит?

Шаги сбились. На один такт.

— Я не знаю, — сказал он. — Я там с шести лет не был. Это шесть дней на юг. Она там держала... Понимаете, я ведь никогда даже не спрашивал. — Он помолчал. — Нет. Мне нельзя. Вам нельзя. Вы не можете уехать сейчас из школы, а меня без вас за ворота не выпустят. Там же Гус.

Я не стала спорить. Я и сама это знала.

* * *

Резолюцию мне вручили в понедельник, первого декабря, в голубой гостиной, при девяти попечителях.

Я заняла своё обычное место на стуле у двери. На улице валил снег. Здесь пахло так, что у мадам Шварц размазалась пудра. Графиня Ленц сидела на подушках, в чём-то розовом, с такими блестящими глазами, что казалось, у неё жар. Поэт читал. Голос у него дрожал от сострадания.

— «...А посему, ввиду крайней ветхости здания, опасного для здоровья воспитанников, а равно ввиду отсутствия средств на его поправление, Совет с глубокой скорбью постановляет: предоставить училищу срок до тридцать перво-

го декабря для внесения суммы в двести крон на ремонт, а также для погашения всех долгов в размере ста шестидесяти крон. В случае невнесения лицензия подлежит отзыву. Воспитанники будут незамедлительно размещены на полном пансионе, заботами г-на Сореля, в приюте Благого Сердца, что близ Вязовой Заставы, где свежий воздух. Здание на Садовой будет реализовано, а вырученные средства...»

Я встала.

— Простите, — сказала я.

Поэт поднял голову. Кроткие глаза. Девять пар глаз на меня уставились, и все они немножко слезились.

— Этот приют Благого Сердца, — сказала я, — там есть учитель для слепых?

— Дорогая, — сказала графиня, чуть задыхаясь. — Там добрые монахини! Там козы!

Вся кисть. Весь рукав, по локоть. Она сама в это верит, но мне этого было мало: у меня это шло от него, он стоял рядом, он просто ласково на меня смотрел.

— Есть ли у них полосы на стенах? — спросила я. — Кто-нибудь знает, как зовут Гуса, когда он ворует? Сколько шагов от спальни до уборной? Они знают, что Малый не может спать, если у него не лежит в кровати дверной замок?

— Мадемуазель Хорн, — сказал Сорель мягко. Сделал ко мне шаг, чуть покачал золотой головой. Его голос стал ещё тише, почти интимным, только для меня. Я, сколько себя помню, не слышала ничего отвратительнее. — Вы так уста-

ли. Я вижу. Вы отдали этим детям свою молодость. Посмотрите на ваши бедные руки. Никто и никогда не поблагодарил вас за это, правда? Вам не надо больше нести это одной. Подпишите, и наконец вы сможете...

Там, у стены, за чьим-то креслом, вдруг что-то упало.

Гвоздика. Виконт Альберт Ленц, лысеющий, сорокалетний, зацепился за столик и уронил себе на колени всё блюдо с цукатами. Он стоял красный, как варёная свёкла, и смотрел в пол. Руки у него тряслись. Цукаты катились.

— Простите, — сказал он. Очень тихо. — Я только хотел спросить. Двести крон. Простите, маменька. Это ведь с учётом дров? Я просто смотрел. Там у них так тепло стало. Я думал... Я только спросил.

Графиня махнула на него веером, даже не повернув головы. Поэт и не взглянул.

Я посмотрела.

Виконт поймал мой взгляд и сразу покраснел ещё больше, если это вообще возможно. И чуть заметно, совершенно нелепо дёрнул подбородком. В сторону двери.

Я взяла лист с резолюцией. Я его не подписала. Там это и не требовалось.

— Триста шестьдесят крон до тридцать первого декабря, — сказала я. — Благодарю вас. Записано. Опара вам в ухо.

Ну, последнего я не сказала. Вслух. У меня всё-таки есть чувство приличия.

* * *

В передней, пока я искала калоши, кто-то очень осторожно кашлянул у меня над ухом.

— Мадемуазель Хорн. Простите. — Виконт Альберт мял в руках перчатку. Вблизи от него пахло фиалками, как и от всех, но ещё лекарственным одеколоном и немного псиной: у него, говорят, живут в комнате три старых мопса. — Я ужасно плохо соображаю. Но я был у вас три раза, вы знаете. Там девочка под лестницей, она спросила меня, отчего я так часто вздыхаю, и почему я ношу на себе цветок, и хорошо ли он себя чувствует. И я понял, что никто меня об этом ещё ни разу... Вот. — Он сунул мне что-то в руку. Торопливо, как взятку. — Это немного. Это мои на мопсов. Я ещё найду. Только, пожалуйста, не говорите маменьке.

Двенадцать крон. Одной бумажкой.

Я посмотрела. Я не знала, чего мне больше хочется, заплакать или спросить, почему именно двенадцать. Пальцы молчали. Человек с лицом напуганного пуделя стоял передо мной, и у него на лбу блестели капли.

— Она в него влюблена, — сказал виконт. — Я никогда её такой не видел. Она поёт. Сорок лет не пела. Папенька был, знаете, неласковый. Я ведь понимаю, что он... Я не совсем дурак, как думают. А она мне вчера сказала: «Альберт, ты завидуешь». Может, и завидую. Вот что мне теперь делать?

— Пересчитать, сколько она за него уже заплатила, — сказала я. — С датами. У неё ведь счета в вашем банке? Вы умеете пересчитывать?

Он моргнул.

— Я... я только это и умею, — сказал он удивлённо. — Я никому не говорил. Мне очень нравятся цифры.

Я надела калошу.

— Заходите в среду, — сказала я. — Мы теперь тоже очень любим цифры.

На улице мело. Я шла домой через Садовую, белую, с чёрными липами, мимо единственного особняка, который на всей улице сейчас не горел огнями, потому что мы экономим на свечах. Над нашей трубой поднимался ровный столб дыма. Двенадцать печей. Один дым к одному.

Триста шестьдесят крон. Минус двенадцать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.